

ИВ. БУНИНЪ

МИТИНА  
ЛЮБОВЬ



ПАРИЖЪ

1925

ТОГО-ЖЕ АВТОРА:

- Мистерии. Байрона . . . . .** Берлинъ, 1921 г.  
**Пѣнь о Гайаватѣ. Лонгфелло . . . . .** Парижъ, 1921 г.  
**Начальная любовь . . . . .** Прага, 1921 г.  
**Крикъ . . . . .** Берлинъ, 1921 г.  
**Чаша жизни . . . . .** Парижъ, 1921 г.  
**Господинъ изъ С. Франциско . . . . .** Парижъ, 1921 г.  
**Роза Иерихона. . . . .** Берлинъ, 1924 г.
-

ИВ. БУНИНЪ

# МИТИНА ЛЮБОВЪ

ПАРИЖЪ

1925

*Вся права сохранены.*

МИТИНА ЛЮБОВЬ

## МИТИНА ЛЮБОВЬ

### I

Въ Москвѣ послѣдній счастливый день Мити былъ девятого марта. Такъ, по крайней мѣрѣ, казалось ему.

Они съ Катей шли въ двѣнадцатомъ часу утра вверхъ по Тверскому бульвару. Зима внезапно уступила веснѣ, на солнцѣ было почти жарко. Какъ будто правда прилетѣли жаворонки и принесли съ собой тепло, радость. Все было мокро, все таяло, съ домовъ капали капли, дворники скальвали ледъ съ тротуаровъ, сбрасывали липкій снѣгъ съ крышъ, и всюду было многолюдно, оживленно. Высокія облака расходились тонкимъ бѣлымъ дымомъ, сливаясь съ влажно-синѣющимъ небомъ. Вдали, въ перспективѣ бульвара, было черно отъ народа, съ благостной задумчивостью высился Пушкинъ, сіялъ Страстной монастырь. Но лучше всего было то, что Катя, въ этотъ день особенно хорошенькая, вся дышала простосердечіемъ и близостью, часто съ дѣтской довѣрчивостью брала Митю подъ руку и снизу заглядывала въ лицо ему, счастливому даже какъ будто чуть-чуть высокомерно, шагавшему такъ по деревенски, что она едва поспѣвала за нимъ.

Возлѣ Пушкина она неожиданно сказала:

— Какъ ты смѣшно, съ какой-то милой мальчишеской неловкостью растягиваешь свой большой ротъ, когда смѣешься! Не обижайся, за эту-то улыбку я и люблю тебя. Да вотъ еще за твои византійскіе глаза...

Стараясь не улыбаться, пересиливая и тайное довольство, и легкую обиду, Митя дружелюбно отвѣтилъ, глядя на памятникъ, теперь уже высоко поднявшійся въ весеннее небо передъ ними:

— Что до мальчишества, то въ этомъ отношеніи мы, кажется, недалеко ушли другъ отъ друга, несмотря на твои восемнадцать лѣтъ. А на византійца я похожъ такъ же, какъ ты на китайскую императрицу. Вы всѣ просто помѣшались на этихъ Византійкахъ, вообще на стилияхъ, на эстетикѣ. Не понимаю я твоей матери!

— Что-жъ, ты бы на ея мѣстѣ меня въ теремъ заперъ? — спросила Катя.

— Не въ теремъ, а просто на порогъ не пускалъ бы всю эту яко-бы артистическую богему, всѣхъ этихъ будущихъ знаменитостей изъ студій и консерваторій, изъ театральныхъ школъ, — отвѣтилъ Митя, продолжая стараться быть спокойнымъ и дружелюбно небрежнымъ. — Ты же сама мнѣ говорила, что Буковецкій уже звалъ тебя ужинать въ Стрѣльну, а Егоровъ предлагалъ лѣпить голую, въ видѣ какой-то умирающей морской волны, и, конечно, страшно польщена такой честью.

— Я все равно даже ради тебя не откажусь отъ искусства, — сказала Катя. — Можетъ быть, я и гадкая, какъ ты часто говоришь, — сказала она, хотя Митя никогда не говорилъ ей этого, — можетъ, я испорченная, но бери меня такую, какая я есть. И не будемъ ссориться, перестань ты меня ревновать хоть нынче, въ такой чудный день! — Какъ ты не понима-

ешь, что ты для меня все таки лучше всѣхъ, единственный? — негромко и настойчиво спросила она, уже съ дѣланной оболъстительностью заглядывая ему въ глаза, и задумчиво, медлительно продекламовала:

Межь нами дремлющая тайна,  
Душа душѣ дала кольцо...

Это послѣднее, эти стихи уже совсѣмъ больно задѣли Митю. Вообще, многое даже и въ этотъ день было непріятно и больно. Непрѣятна была шутка на счетъ мальчишеской неловкости: подобныя шутки онъ слышалъ отъ Кати уже не въ первый разъ, и онѣ были не случайны, — Катя нерѣдко проявляла себя то въ томъ, то въ другомъ болѣе взрослой, чѣмъ онъ, нерѣдко (и невольно, то есть, вполне естественно) выказывала свое превосходство надъ нимъ, и онъ съ болью воспринималъ это, какъ признакъ ея какой-то тайной порочной опытности. Непрѣятно было «все таки» («ты все таки для меня лучше всѣхъ») и то, что это было сказано почему-то внезапно пониженнымъ голосомъ, особенно-же непрѣятны были стихи, ихъ манерное чтеніе. Однако даже стихи и это чтеніе, то есть, то самое, что больше всего напоминало Митѣ среду, отнимавшую у него Катю, остро возбуждавшую его ненависть и ревность, онъ перенесъ сравнительно легко въ этотъ счастливый день девятого марта, его послѣдній счастливый день въ Москвѣ, какъ часто казалось ему потомъ.

Въ этотъ день, на возвратномъ пути съ Кузнецкаго Моста, гдѣ Катя купила у Циммермана нѣсколько вещей Скрябина, она между прочимъ заговорила объ его, Митиной, мамѣ и сказала, смѣясь:

— Ты не можешь себѣ представить, какъ я заранѣе боюсь ея!



Почему-то еще ни разу за все время ихъ любви не касались они вопроса о будущемъ, о томъ, чѣмъ ихъ любовь кончится. И вотъ вдругъ Катя заговорила объ его мамѣ и заговорила не просто, а такъ, точно само собой подразумѣвалось, что мама есть ея будущая свекровь...

## II

Потомъ все шло какъ будто по прежнему. Митя провожалъ Катю въ студию Художественнаго театра, на концерты, на литературные вечера, или сидѣлъ у нея на Кисловкѣ и засиживался до двухъ часовъ ночи, пользуясь странной свободой, которую давала ей ея мать, всегда курящая, всегда нарумяненная дама съ малиновыми волосами, милая, добрая женщина (давно жившая отдѣльно отъ мужа, у котораго была вторая семья). Забѣгала и Катя къ Митѣ, въ его номера на Молчановкѣ, и свиданія ихъ, какъ и прежде, почти сплошь протекали въ тяжкомъ дурманѣ поцѣлуевъ. Но Митѣ упорно казалось, что внезапно началось что-то страшное, что что-то измѣнилось, стало мѣняться въ Катѣ, въ ея отношеніи къ нему.

Быстро пролетѣло то незабвенное легкое время, когда они только что встрѣтились, когда они, едва познакомившись, вдругъ почувствовали, что имъ всего интереснѣе говорить (и хоть съ утра до вечера) только другъ съ другомъ, — когда Митя столь неожиданно оказался въ томъ сказочномъ мірѣ любви, котораго онъ втайнѣ ждалъ съ дѣтства, съ отрочества. Этимъ временемъ былъ декабрь, — морозный, погожий, день за днемъ украшавшій Москву густымъ инеемъ и мутно-краснымъ ша-

ромъ низкаго солнца. Январь, февраль закружили Митину любовь въ вихрѣ непрерывнаго счастья, уже какъ бы осуществленнаго или, по крайней мѣрѣ, вотъ-вотъ готоваго осуществиться. Но уже и тогда что-то стало (и все чаще и чаще) смущать, отравлять это счастье. Уже и тогда нерѣдко казалось, что какъ будто есть двѣ Кати: одна та, которой съ первой минуты своего знакомства съ ней сталъ настойчиво желать, требовать Митя, а другая — подлинная, обыкновенная, мучительно не совпадавшая съ первой. И все же ничего подобнаго теперешнему не испытывалъ Митя тогда.

Все можно было объяснить. Начались весеннія женскія заботы, покупки, заказы, безконечныя передѣлки то того, то другого и Катѣ дѣйствительно приходилось часто бывать съ матерью у портнихъ, у шляпницъ; кромѣ того у нея впереди былъ экзамень, — въ той частной театральнѣй школѣ, гдѣ училась она. Вполнѣ естественной поэтому могла быть ея озабоченность, разсѣянность. И такъ Митя поминутно и утѣшалъ себя. Но утѣшенія не помогали — то, что говорило мнительное сердце вопреки имъ, было сильнѣе и подтверждалось все очевиднѣе: внутренняя невнимательность Кати къ нему все росла, а вмѣстѣ съ тѣмъ росла и его мнительность, его ревность. Директоръ театральной школы кружилъ Катѣ голову похвалами, и она не могла удержаться, рассказывала Митѣ объ этихъ похвалахъ. Директоръ сказалъ ей: «ты гордость моей школы» — онъ всѣмъ своимъ ученицамъ говорилъ ты, — и, помимо общихъ занятій, сталъ заниматься съ ней постомъ еще и отдѣльно, чтобы блеснуть ею на экзаменахъ особенно. Было-же извѣстно, что онъ развращалъ ученицъ, каждое лѣто возилъ какую-нибудь съ собой на Кавказъ, въ Фин-

ляндію, заграницу. И Митѣ стало приходиться въ голову, что теперь директоръ имѣетъ виды на Катю, которая, хотя и не виновата въ этомъ, все таки, вѣроятно, это чувствуетъ, понимаетъ и потому уже какъ-бы находится съ нимъ въ мерзкихъ, преступныхъ отношеніяхъ. И мысль эта мучила тѣмъ болѣе, что слишкомъ очевидно было уменьшеніе вниманія Кати.

Казалось, что вообще что-то стало отвлекать ее отъ него. Онъ не могъ спокойно думать о директорѣ. Но что директоръ! Казалось, что вообще надъ Катиной любовью стали преобладать какіе-то другіе интересы. Къ кому, къ чему? Митя не зналъ, онъ ревновалъ Катю ко всѣмъ, ко всему, главное, къ тому общему, имъ воображаемому, чѣмъ втайнѣ отъ него уже будто бы начала жить она. Ему казалось, что ее непреодолимо тянетъ куда-то прочь отъ него и, можетъ быть, къ чему-то такому, о чемъ даже и помыслить страшно.

Разъ Катя, полушутя, сказала ему въ присутствіи матери:

— Вы, Митя, вообще разсуждаете о женщинахъ по Домострою. И изъ васъ выйдетъ совершенный Отелло. Вотъ ужъ никогда бы не влюбилась въ васъ и не пошла за васъ замужъ!

Мать возразила:

— А я не представляю себѣ любви безъ ревности. Кто не ревнуетъ, тотъ, по моему, не любить.

— Нѣтъ, мама, — сказала Катя со своею постоянной склонностью повторять чужія слова, — ревность это неуваженіе къ тому, кого любишь. Значитъ, меня не любятъ, если мнѣ не вѣрятъ, — сказала она, нарочно не глядя на Митю.

— А по моему, — возразила мать, — ревность и есть любовь. Я даже это гдѣ-то читала. Тамъ это было очень хорошо доказано и даже съ примѣрами изъ

Библии, гдѣ самъ Богъ называется ревнителемъ и мстителемъ...

Что до Митиной любви, то она теперь почти всецѣло выражалась только въ ревности. И ревность эта была не простая, а какая-то, какъ ему казалось, особенная. Они съ Катей еще не переступили послѣдней черты близости, хотя позволяли себѣ въ тѣ часы, когда оставались одни, слишкомъ многое. И теперь, въ эти часы, Катя бывала еще страстнѣе, чѣмъ прежде. Но теперь и это стало казаться подозрительнымъ и возбуждало порою ужасное чувство. Всѣ чувства, изъ которыхъ состояла его ревность, были ужасны, но среди нихъ было одно, которое было ужаснѣе всѣхъ и которое Митя никакъ не умѣлъ, не могъ опредѣлить и даже понять. Оно заключалось въ томъ, что тѣ проявленія страсти, то самое, что было такъ блаженно и сладостно, выше и прекраснѣе всего въ мірѣ въ примѣненіи къ нимъ, Митѣ и Катѣ, становилось несказанно мерзко и даже казалось чѣмъ-то противостественнымъ, когда Митя думалъ о Катѣ и о другомъ мужчинѣ. Тогда Катя возбуждала въ немъ острую ненависть и отвращеніе, отвращеніе даже тѣлесное. Все, что, глазъ на глазъ, дѣлалъ съ ней онъ самъ, было полно для него райской прелести и цѣломудрія. Но какъ только онъ представлялъ себѣ на своемъ мѣстѣ кого-нибудь другого, все мгновенно мѣнялось, — все превращалось въ нѣчто безстыдное, отвратное, возбуждающее жажду задушить Катю и прежде всего именно ее, а не воображаемаго соперника.

### III

Въ день экзамена, который состоялся наконецъ (на шестой недѣлѣ поста), какъ будто особенно подтвер-

дилась вся правота Митиныхъ мученій.

Тутъ Катя уже совсѣмъ не видѣла, не замѣчала его, была вся чужая, вся публичная.

Она имѣла большой успѣхъ. Она была во всемъ бѣломъ, какъ невѣста, и волненіе дѣлало ее прелестной. Ей дружно и горячо хлопали, и директоръ, самодовольный актеръ съ безстрастными и печальными глазами, сидѣвшій въ первомъ ряду, только ради пушей гордости дѣлалъ ей иногда замѣчанія, говоря негромко, но какъ-то такъ, что было слышно на всю залу и звучало для Мити нестерпимо.

— Поменьше читки, — говорилъ онъ вѣско, спокойно и такъ властно, точно Катя была его полной собственностью. — Не играй, а переживай, — говорилъ онъ раздѣльно.

И это было нестерпимо. Да нестерпимо было и самое чтеніе, вызывавшее рукоплесканія. Катя алѣла жаркимъ румянцемъ, смущеніемъ, голосокъ ея иногда срывался, дыханія не хватало, и это было трогательно, очаровательно. Но читала она съ той пошлой пѣвучестью, фальшью и глупостью въ каждомъ звукѣ, которыя считались высшимъ искусствомъ чтенія въ той ненавистой для Мити средѣ, въ которой уже всѣми помыслами своими жила Катя: она не говорила, а все время восклицала съ какой-то назойливой томной страстностью, съ неумѣренной, ничѣмъ не обоснованной въ своей настойчивости мольбой, и Митя не зналъ, куда глаза дѣвать отъ стыда за нее. Ужаснѣе же всего была та смѣсь ангельской чистоты и порочности, которая была въ ней, въ ея разгорѣвшемся личикѣ, въ ея бѣломъ платьѣ, которое на эстрадѣ казалось короче, такъ какъ всѣ сидящіе въ залѣ глядѣли на Катю снизу, въ ея бѣлыхъ туфелькахъ и въ обтянутыхъ шелковыми бѣлыми чулками ногахъ. — «Дѣвушка

пѣла въ церковномъ хорѣ» — съ дѣланной, неумѣренной наивностью читала (вѣрнѣе, тоже пѣла) Катя о какой-то будто бы ангельски невинной дѣвушкѣ. И Митя чувствовалъ и обостренную близость къ Катѣ, — какъ всегда это чувствуешь въ толпѣ къ тому, кого любишь, — и враждебность, граничащую съ ненавистью, чувствовалъ и гордость ею, сознание, что вѣдь все таки ему принадлежитъ она, и вмѣстѣ съ тѣмъ разрывающую сердце боль: нѣтъ, все кончено, нѣтъ, уже не принадлежитъ!

Послѣ экзамена были опять счастливые дни. Но Митя уже не вѣрилъ имъ съ той легкостью, какъ прежде. Катя, вспоминая экзаменъ, говорила:

— Какой ты глупый! Развѣ ты не чувствовалъ, что я и читала-то такъ хорошо только для тебя одного!

Онъ держалъ ее на колѣняхъ, цѣловалъ, наклоняясь, ея заголенное перламутровое колѣно, цѣловалъ ея раскрытую грудь и молчалъ. Онъ не могъ забыть, что чувствовалъ онъ на экзаменѣ, и не могъ сознаться, что эти чувства и теперь не оставили его, то и дѣло возникали въ той или иной мѣрѣ. Чувствовала его тайныя чувства и Катя и однажды, во время ссоры, воскликнула:

— Не понимаю, за что ты любишь меня, если, по твоему, все такъ дурно во мнѣ! И чего ты, наконецъ, хочешь отъ меня?

Но онъ и самъ не понималъ, за что онъ любилъ ее, хотя чувствовалъ, что любовь его не только не уменьшается, но все возрастаетъ вмѣстѣ съ той ревнивой борьбой, которую онъ велъ съ кѣмъ-то (не съ самой ли Катей прежде всего?) изъ-за нея, изъ-за этой любви, изъ-за ея напрягающейся силы, углубляющейся требовательности.

— Ты любишь только мое тѣло, а не душу! — горько сказала однажды Катя.

Опять это были чьи-то чужія, театральныя слова, но они, при всей ихъ вздорности и избытости, тоже касались чего-то мучительно-неразрѣшимаго. Онъ не зналъ, за что любилъ, не могъ точно сказать, чего хотѣлъ... Что это значить вообще — любить? Отвѣтить на это было тѣмъ болѣе невозможно, что ни въ томъ, что слышалъ Митя о любви, ни въ томъ, что читалъ онъ о ней, не было ни одного точно опредѣляющаго ее слова. Въ книгахъ и въ жизни всѣ какъ будто разъ и навсегда условились говорить или только о какой-то почти безплотной любви или только о томъ, что называется страстью, чувственностью. Его же любовь была не похожа ни на то, ни на другое, какъ не похожа была Катя не только на Шарлотту, на Гретхень, на Татьяну Пушкина, на героинь Тургенева, но и на героинь Зола, Мопассана, какъ не похожи были его чувства на чувства Вертера, Ромео, Онѣгина или тѣхъ несмѣтныхъ героевъ, что просто обольщали. Что испытывалъ онъ къ ней? То, что называется любовью, или то, что называется страстью? Душа Кати или тѣло доводило его почти до обморока, до какого-то предсмертнаго блаженства, когда онъ разстегивалъ ея кофточку и цѣловалъ ея грудь, райски прелестную и дѣвственную, раскрытую съ какой-то душою потрясающей покорностью, безстыдностью чистѣйшей невинности?

#### IV

Въ апрѣлѣ Катя еще больше измѣнилась, просто неузнаваема стала.

Успѣхъ на экзаменѣ сыгралъ свою роль. И все

таки не одно это такъ измѣнило ее. Несомнѣнно были на то и какія-то другія причины. А Митя не понималъ, не зналъ ихъ и только поражался. Какъ-то сразу превратилась Катя съ наступленіемъ весны какъ бы въ какую-то молоденькую свѣтскую даму, блиставшую чуть не каждый день скромными, но дорогими нарядами, оживленную и вѣчно куда-то спѣшащую. Митѣ теперь просто стыдно было за свой темный коридоръ, когда она пріѣзжала, — теперь она не приходила, а всегда пріѣзжала — когда она, шурша шелкомъ, быстро шла по этому коридору, опустивъ на лицо вуальку. Теперь она бывала неизмѣнно нѣжна съ нимъ, но неизмѣнно опаздывала и сокращала свиданія, говоря, что ей опять надо ѣхать съ мамой къ портнихѣ.

— Понимаешь, франтимъ напропалую! — говорила она, кругло, весело и удивленно блестя глазами, отлично понимая, что Митя не вѣритъ ей, что слова ея звучатъ дѣланно, лживо, и все таки говоря, такъ какъ говорить теперь стало совсѣмъ не о чемъ.

И шляпки она теперь почти никогда не снимала, и зонтика не выпускала изъ рукъ, на отлетѣ сидя на кровати Мити и съ ума сводя его своими икрами, обтянутыми шелковыми чулками. А передъ тѣмъ какъ уѣхать и сказать, что нынче вечеромъ ея опять не будетъ дома, — опять надо къ кому-то съ мамой! — она неизмѣнно продѣлывала одно и то-же, съ явной цѣлью одурачить его, наградить за всѣ его «глупыя», какъ она выражалась, мученія: притворно-воровски взглядывала на дверь, соскальзывала съ кровати и съ неумѣренной страстностью говорила поспѣшнымъ шепотомъ:

— Ну, цѣлуй же меня!

И крѣпко охватывала его шею, извиристо прижималась къ нему всѣмъ тѣломъ и разъ даже, во время



особенно долгого поцѣлуя, вдругъ что-то сдѣлала языкомъ, тѣсно вильнула бедрами по его ногамъ и, отскакивая, быстро прошептала:

— Нѣтъ, ты съ ума меня сводишь!

Этотъ поцѣлуй совершенно сразилъ Митю, Какъ, гдѣ могла она узнать такіе поцѣлуи?! У Мити еще не было никакой опытности даже въ поцѣлуяхъ, — первая зима въ Москвѣ совпала съ его первой любовью, — но онъ не могъ не понять всей необычности, всей особенности того, что сдѣлала Катя, цѣлуя его.

## V

И въ концѣ апрѣля Митя наконецъ рѣшилъ дать себѣ отдыхъ, уѣхать въ деревню.

Онъ совершенно замучилъ и себя, и Катю, и мука эта была тѣмъ нестерпимѣе, что какъ будто не было никакихъ причинъ для нея: что въ самомъ дѣлѣ случилось, въ чемъ виновата Катя? И однажды Катя, съ твердостью отчаянія, сказала ему:

— Да, уѣзжай, уѣзжай, я больше не въ силахъ! Намъ надо временно разстаться, выяснитъ наши отношенія. Ты сталъ такъ худъ, что мама убѣждена, что у тебя чахотка. Я больше не могу!

И отъѣздъ Мити былъ рѣшенъ. Но уѣзжалъ Митя, къ великому своему удивленію, хотя и не помня себя отъ горя, все таки почти счастливый. Какъ только отъѣздъ былъ рѣшенъ, неожиданно вернулось все прежнее. Вѣдь онъ все таки страстно не хотѣлъ вѣрить ничему тому ужасному, что ни днемъ, ни ночью не давало ему покоя. И достаточно было малѣйшей перемѣны въ Катѣ, чтобы опять все измѣнилось въ его глазахъ. А Катя опять стала нѣжна и страстна

уже безъ всякаго притворства, — онъ чувствовалъ это съ безошибочной чуткостью ревнивыхъ натуръ, — и опять сталъ онъ сидѣть у нея до двухъ часовъ ночи, и опять было о чемъ говорить, и чѣмъ ближе становился отъѣздъ, тѣмъ все нелѣпѣе казалась разлука, надобность «выяснить отношенія». Разъ Катя даже заплакала, — а она никогда не плакала, — и эти слезы вдругъ сдѣлали ее страшно родною ему, пронзили его чувствомъ острой жалости и какъ будто какой-то вины передъ ней.

Мать Кати въ началѣ іюня уѣзжала на все лѣто въ Крымъ и увозила и ее съ собой. Рѣшили встрѣтиться въ Мисхорѣ. Митя долженъ былъ добыть денегъ и тоже пріѣхать въ Мисхоръ.

И онъ собирался, дѣлалъ приготовленія къ отъѣзду, ходилъ по Москвѣ въ томъ странномъ опьяненіи, которое бываетъ, когда человѣкъ еще бодро держится на ногахъ, но уже боленъ какой-то тяжелой болѣзью. Онъ былъ болѣзненно, пьяно несчастенъ и вмѣстѣ съ тѣмъ болѣзненно счастливъ, растроганъ возвратившейся близостью Кати, ея заботливостью къ нему, — она даже ходила съ нимъ покупать дорожные ремни, точно она была его невѣста или жена, — и вообще возвратомъ почти всего того, что напоминало первое время ихъ любви. И также воспринималъ онъ и все окружающее, — дома, улицы, идущихъ и ѣдущихъ по нимъ, погоду, все время по весеннему хмурившуюся, запахъ пыли и дождя, церковный запахъ тополей, распустившихся за заборами въ переулкахъ: все говорило о горечи разлуки и о сладости надежды на лѣто, на встрѣчу въ Крыму, гдѣ уже ничто не будетъ мѣшать и все осуществится (хотя онъ и до сихъ поръ не зналъ, что именно все).

Въ день отъѣзда зашелъ проститься Протасовъ.

Среди гимназистовъ старшихъ классовъ, среди студентовъ нерѣдко встрѣчаются юноши, усвоившіе себѣ манеру держаться съ добродушно-угрюмой насмѣшливостью, съ видомъ челоуѣка, который старше, опытнѣе всѣхъ на свѣтѣ. Таковъ былъ и Протасовъ, одинъ изъ ближайшихъ пріятелей Мити, единственный настоящій другъ его, знавшій, не смотря на всю скрытность, молчаливость Мити, всѣ тайны его любви. Онъ глядѣлъ, какъ Митя завязывалъ чемоданъ, видѣлъ, какъ тряслись его руки, потомъ съ грустной мудростью ухмыльнулся и сказалъ:

— Чистыя вы дѣти, прости Господи! А за всѣмъ тѣмъ, любезный мой Вертеръ изъ Тамбова, все же пора бы понять, что Катя есть прежде всего типичнѣйшее женское естество, и что самъ полицеймейстеръ ничего съ этимъ не подѣляетъ. Ты, естество мужское, лѣзешь на стѣну, предъявляешь къ ней высочайшія требованія инстинкта продолженія рода, и, конечно, все сіе совершенно законно, даже въ нѣкоторомъ смыслѣ священо. Тѣло твое есть высшій разумъ, какъ справедливо замѣтилъ геръ Нитше. Но законно и то, что ты на этомъ священномъ пути можешь сломать себѣ шею. Есть-же особи въ мірѣ животномъ, коимъ даже по штату полагается платить цѣной собственнаго существованія за свой первый и послѣдній любовный актъ. Но такъ какъ для тебя этотъ штатъ, вѣроятно, не совсѣмъ ужъ обязателенъ, то смотри въ оба, поберегай себя. Вообще, не спѣши. «Юнкеръ Шмитъ, честное слово, лѣто возвратится!» Свѣтъ не лыкомъ шить, не клиномъ на Катѣ сошелся. Вижу по твоимъ усиліямъ задушить чемоданъ, что ты съ этимъ совершенно не согласенъ, что этотъ клинъ тебѣ весьма любезенъ. Ну, прости за непрошенный совѣтъ — и да храни тебя Никола Угодникъ со всѣми присными его!

А когда Протасовъ, тиснувъ Митѣ руку, ушелъ, Митя, затягивая въ ремни подушку и одѣяло, услыхалъ въ свое открытое во дворъ окно, какъ загремѣлъ, пробуя голось, студентъ, жившій напротивъ, учившійся пѣнію и упражнявшійся съ утра до вечера, — запѣлъ «Азру». Тогда Митя заспѣшилъ съ ремнями, застегнулъ ихъ какъ попало, схватилъ картузъ и пошелъ на Кисловку, — проститься съ матерью Кати. Мотивъ и слова пѣсни, которую запѣлъ студентъ, такъ настойчиво звучали и повторялись въ немъ, что онъ не видѣлъ ни улицъ, ни встрѣчныхъ, шелъ еще пьянѣе, чѣмъ ходилъ всѣ послѣдніе дни. Въ самомъ дѣлѣ было похоже на то, что свѣтъ клиномъ сошелся, что юнкеръ Шмитъ изъ пистолета хочетъ застрѣлиться! Ну, что-жь, сошелся такъ сошелся, думалъ онъ и опять возвращался къ пѣснѣ о томъ, какъ, гуляя по саду и «красой своей сіяя», встрѣчала дочь султана въ саду чернаго невольника, который стоялъ у фонтана «блѣднѣе смерти», какъ однажды спросила она его, кто онъ и откуда, и какъ отвѣтилъ онъ ей, начавъ зловѣще, но смиренно, съ угрюмой простотой:

Зовусь Магометомъ я... —

и кончивъ восторженно-трагическимъ воплемъ:

— Я изъ рода бѣдныхъ Азровъ,  
Полюбивъ, мы умираемъ!

Катя одѣвалась, чтобы ѣхать на вокзалъ провожать его, ласково крикнула ему изъ своей комнаты, — изъ комнаты, гдѣ онъ провелъ столько незабвенныхъ часовъ! — что она пріѣдетъ къ первому звонку. Милая, добрая женщина съ малиновыми волосами сидѣла одна, курила и очень грустно посмотрѣла на него, — она, вѣроятно, все давно понимала, обо всемъ догадывалась. Онъ, весь алый, внутренно дрожащій, поцѣловалъ ея нѣжную и дряблую руку, по-сыновьи

склонивъ голову, и она съ материнской лаской нѣсколько разъ поцѣловала его въ високъ и перекрестила:

— Эхъ, милый, — съ несмѣлой улыбкой сказала она словами Грибоѣдова, — живите-ка смѣясь! Ну, Христось съ вами, поѣзжайте, поѣзжайте...

Онъ не помнилъ, какъ вышелъ, вѣрнѣе, выбѣжалъ, зацѣпившись за коверъ въ прихожей, чуть не упалъ, но зато съ особенно злой твердостью застучалъ потомъ внизъ по лѣстницѣ.

## VI

Сдѣлавъ все то послѣднее, что нужно было сдѣлать въ номерахъ, уложивъ свои вещи въ кривую извозчичью пролетку при помощи коридорнаго въ русской рубахѣ, онъ наконецъ неловко усѣлся возлѣ вещей, тронулся и тотчасъ же почувствовалъ то особое, что охватываетъ при отъѣздѣ, — конченъ (и навсегда) извѣстный срокъ жизни! — и вмѣстѣ съ тѣмъ внезапную легкость, надежду на начало чего-то новаго. Онъ нѣсколько успокоился и бодрѣе, какъ-бы новыми глазами сталъ глядѣть вокругъ. Конечъ, прощай Москва и все, что пережито въ ней! Накрапывало, хмурилось, въ переулкахъ было пусто, булыжникъ былъ темень и блестяль, какъ желѣзный, дома стояли невеселые, грязные. Извозчикъ везъ съ мучительной неспѣшностью и то и дѣло заставлялъ Митю отворачиваться и стараться не дышать. Проѣхали Кремль, потомъ Покровку и опять свернули въ переулки, гдѣ въ садахъ хрипло орала къ дождю и къ вечеру ворона, а все же была весна, — даже въ ревѣ и въ свисткахъ, уже доносившихся изъ-за Курскаго вокзала. Нако-

нецъ и это кончилось, и Митя бѣгомъ кинулся за носильщикомъ по гулкому и людному вокзалу на перонъ, потомъ на третій путь, гдѣ уже былъ готовъ длинный и тяжелый курскій поѣздъ. И изъ всей огромной и безобразной толпы, осаждавшей поѣздъ, изъ-за всѣхъ носильщиковъ, съ грохотомъ и предупреждающими покрякиваніями катившихъ телѣжки съ вещами, онъ мгновенно выдѣлился, увидаль то, что, «красой своей сіяя», одиноко стояло вдаль и казалось совершенно особымъ существомъ не только во всей этой толпѣ, но и во всемъ мірѣ. Уже пробилъ первый звонокъ, — на этотъ разъ опоздалъ онъ, а не Катя. Она трогательно пріѣхала раньше его, она его ждала и кинулась къ нему опять таки съ заботливостью жены или невѣсты:

— Милый, занимай скорѣе мѣсто! Сейчасъ второй звонокъ!

А послѣ второго звонка она еще трогательнѣе стояла на платформѣ, снизу глядя на него, стоявшаго въ дверяхъ третьекласснаго вагона, уже биткомъ набитаго и вонючаго. Все въ ней было прелестно, — ея милое хорошенькое личико, ея небольшая фигурка, ея свѣжесть, молодость, гдѣ женственность еще мѣшалась съ дѣтскостью, ея вверхъ поднятые сіяющіе глаза, ея голубая скромная шляпка, въ изгибахъ которой была нѣкоторая изящная задорность, и даже ея темно-сѣрый костюмъ, въ которомъ Митя съ обожаніемъ чувствовалъ даже матерію и шелкъ подкладки. Онъ стоялъ высокій, нескладный, страшно худой, на дорогу онъ надѣлъ длинные грубые сапоги и старую гимназическую куртку, бѣлыя пуговицы которой были обтерты, краснѣли мѣдью. И все таки Катя смотрѣла на него непритворно любящимъ и грустнымъ взглядомъ. Третій звонокъ такъ не ожи-

данно и рѣзко ударилъ по сердцу, что Митя ринулся съ площадки вагона какъ безумный и такъ-же безумно, съ ужасомъ кинулась къ нему навстрѣчу Катя. Онъ припалъ къ ея перчаткѣ и, вскочивъ назадъ, въ вагонъ, сквозь слезы замахалъ ей картузомъ съ неистовымъ восторгомъ, а она подхватила рукой юбку и поплыла вмѣстѣ съ платформой назадъ, все еще не спуская съ него поднятаго взгляда. Она плыла все быстрѣе по мѣрѣ того какъ вѣтеръ все сильнѣе трепалъ волосы высунувшагося изъ окна Мити, а паровозъ расходился все шибче, все безпощаднѣе, наглымъ, угрожающимъ ревомъ требуя путей, — и вдругъ точно сорвало и ее, и конецъ платформы...

## VII

Давно наступили долгіе весенніе сумерки, темные отъ дождевыхъ тучъ, тяжелый вагонъ грохоталъ въ голомъ и прохладномъ полѣ, — въ поляхъ весна была еще ранняя, — шли кондуктора по коридору вагона, спрашивая билеты и вставляя въ фонари свѣчи, а Митя все еще стоялъ возлѣ дребезжащаго окна, чувствуя запахъ Катиной перчатки, оставшейся на его губахъ, все еще весь пылалъ острымъ огнемъ послѣдняго мига разлуки. И вся длинная московская зима, счастливая и мучительная, преобразившая всю жизнь его, вся цѣликомъ и уже совсѣмъ въ какомъ-то новомъ свѣтѣ вставала передъ нимъ. Въ новомъ свѣтѣ, опять въ новомъ, стояла теперь передъ нимъ и Катя... Да, да, кто сумѣетъ выразить, кто она, что она такое? А любовь, страсть, душа, тѣло? Это что такое? Ничего этого нѣтъ, — есть что-то другое, совсѣмъ другое! Вотъ этотъ запахъ перчатки — развѣ это тоже не Ка-

тя, не любовь, не душа, не тѣло? И мужики, рабочіе въ вагонѣ, женщина, которая ведетъ въ отхожее мѣсто своего безобразнаго ребенка, тускляя свѣчи въ дребезжащихъ фонаряхъ, сумерки въ весеннихъ пустыхъ поляхъ — все любовь, все душа и все мука и все несказанная радость!

Утромъ былъ Орель, пересадка, провинціальный поѣздъ возлѣ дальней платформы. И Митя почувствовалъ: какой это простой, спокойный и родной міръ по сравненію съ московскимъ, уже отошедшимъ куда-то въ тридешатое царство, центромъ котораго была Катя, теперь такая какъ будто одинокая, жалкая, любимая только нѣжно! Даже небо, кое гдѣ подмазанное блѣдной синевой дождевыхъ облаковъ, даже чистый полевой вѣтерокъ тутъ проще и спокойнѣе... Поѣздъ изъ Орла потянулся медленно, медленно, и Митя не спѣша ѣлъ тульскій печатный пряникъ, сидя въ пустомъ вагонѣ. Потомъ, когда и Орель остался позади, поѣздъ разошелся и умоталъ, усыпиль его.

Проснулся онъ только въ Верховьѣ. Поѣздъ стоялъ, было довольно многолюдно и суетливо, но тоже какъ-то захолустно. Пріятно пахло чадомъ станціонной кухни, Митя чувствовалъ голодь. Онъ съ удовольствіемъ съѣлъ тарелку щей и выпилъ бутылку пива, потомъ опять задремалъ, — глубокая усталость напала на него. А когда онъ опять очнулся, поѣздъ мчался по весеннему березовому лѣсу, уже знакомому, передъ послѣдней станціей. Опять по весеннему сумрачно темнѣло, въ открытое окно пахло дождемъ и какъ будто грибами. Лѣсъ стоялъ еще совсѣмъ голый, но все же грохотанье поѣзда отдавалось въ немъ отчетливѣе, чѣмъ въ полѣ, а вдали уже мелькали по весеннему печальные огоньки станціи. Вотъ и высокій зеленый огонь семафора, — особенно прелестный въ



такія сумерки въ березовомъ голомъ лѣсу, — и поѣздъ со стукомъ сталъ переходить на другой путь... Боже, какъ по деревенски жалокъ и милъ работникъ, ждущій барчука на платформѣ! И далекая, столичная красота Кати вспыхнула въ воображеніи еще ярче...

Сумерки и тучи все сгущались, пока ѣхали отъ станціи по большому селу, тоже еще весеннему, грязному. Все тонуло въ этихъ необыкновенно мягкихъ сумеркахъ, въ глубочайшей тишинѣ земли, теплой ночи, слившейся съ темнотой неопредѣленныхъ, низко нависшихъ дождевыхъ тучъ, и опять Митя дивился и радовался: какъ спокойна, проста, убога деревня, эти пахучія курныя избы, уже давно спящія, — съ Благовѣщенья добрые люди не вздуваютъ огня, — и какъ хорошо въ этомъ темномъ и тепломъ степномъ мірѣ! Тарантасъ нырять по ухабамъ, по грязи, дубы за дворомъ богатаго мужика высились еще совсѣмъ нагіе, непривѣтливые, чернѣли грачиными гнѣздами. У избы стоялъ и вглядывался въ сумракъ странный, какъ будто изъ древности мужикъ: босыя ноги, рваный армякъ, баранья шапка на длинныхъ прямыхъ волосахъ... И пошелъ теплый, сладостный, душистый дождь. Митя подумалъ о дѣвкахъ, о молодыхъ бабахъ, спящихъ въ этихъ избахъ, обо всемъ томъ женскомъ, къ чему онъ приблизился за зиму съ Катей, и все сказочно слилось въ одно — Катя, дѣвки, ночь, весна, запахъ дождя, запахъ распаханной, готовой къ оплодотворенію земли, запахъ лошадиного пота и воспоминаніе о запахѣ лайковой перчатки... Митя откинулся въ задокъ тарантаса и, сквозь слезы, дрожащими руками, сталъ закуривать...

Въ деревнѣ жизнь началась днями мирными и очаровательными.

Ночью по пути со станціи Катя какъ будто померкла, растворилась во всемъ окружающемъ. Но нѣтъ, это только такъ показалось и казалось еще нѣсколько дней, пока Митя отсыпался, приходилъ въ себя, привыкалъ къ новизнѣ съ дѣтства знакомыхъ впечатлѣній родного дома, деревни, деревенской весны, весенней наготы и пустоты міра, опять чисто и молодо готового къ новому расцвѣту. Да даже и въ эти дни Катя была во всемъ и за всѣмъ, какъ когда-то (девять лѣтъ тому назадъ и тоже весной, когда умеръ отецъ) долго была во всемъ и за всѣмъ смерть.

Усадьба была небольшая, домъ старый и незатѣйливый, хозяйство несложное, не требующее большой дворни, — жизнь для Мити началась тихая. Сестра Аня, второклассница гимназистка, и братъ Костя, подростокъ кадетъ, были еще въ Орлѣ, учились, должны были пріѣхать не раньше начала іюня. Мама, Ольга Петровна, была, какъ всегда, занята хозяйствомъ, въ которомъ ей помогалъ только приказчикъ, — староста, какъ называли его на дворнѣ, — часто бывала въ полѣ, ѣздила на хуторъ, въ городъ, ложилась спать, какъ только темнѣло.

Когда Митя на другой день по пріѣздѣ, проспавши двѣнадцать часовъ, вымытый, во всемъ чистомъ, вышелъ изъ своей солнечной комнаты, — она была окнами въ садъ, на востокъ, — и прошелъ по всѣмъ другимъ, онъ живо испыталъ чувство ихъ родственности и мирной, успокаивающей и душу, и тѣло простоты. Вездѣ все стояло на своихъ привычныхъ мѣстахъ, какъ и много лѣтъ тому назадъ, и такъ-же

знакомо и пріятно пахло; вездѣ къ его пріѣзду все было прибрано особенно тщательно, — вѣдь онъ теперь пріѣхалъ домой уже не мальчикомъ, а какъ бы молодымъ хозяиномъ, — и во всѣхъ комнатахъ были вымыты полы. Домывали только залъ, примыкавшій къ прихожей, къ лакейской, какъ ее называли еще до сихъ поръ. Веснушчатая дѣвка, поденщица съ деревни, стояла на окнѣ возлѣ дверей на балконѣ, тянулась къ верхнему стеклу, со свистомъ протирая его и отражаясь въ нижнихъ стеклахъ синѣющимъ, какъ-бы далекимъ, отраженіемъ. Горничная Параша, вытащивъ большую тряпку изъ ведра съ горячей водой, босая, бѣлоногая, шла по залитому полу на маленькихъ пяткахъ и сказала дружественно-развязной скороговоркой, вытирая потъ съ разгорѣвагося лица сгибомъ засученной руки:

— Идите кушайте чай, мамаша еще до свѣту уѣхали на станцію со старостой, вы небось и не слышали...

И тотчасъ-же Катя властно напомнила о себѣ: Митя поймалъ себя на вождедѣніи къ этой засученной женской рукѣ и къ женственному изгибу тянувшейся вверхъ дѣвки на окнѣ, къ ея юбкѣ, подъ которую крѣпкими тумбочками уходили голыя ноги, и съ радостью ощутилъ власть Кати, свою принадлежность ей, почувствовалъ ея тайное присутствіе во всѣхъ впечатлѣніяхъ этого утра.

И присутствіе это чувствовалось все живѣе и живѣе съ каждымъ новымъ днемъ и становилось все прекраснѣе, по мѣрѣ того какъ Митя приходилъ въ себя, успокаивался, освобождался отъ болѣзненной остроты ощущеній, при которой все ранило въ Москвѣ, можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ безъ достаточныхъ основаній, — по мѣрѣ того какъ все полнѣе воспринималъ онъ

весну, деревню и забывалъ ту, обыкновенную, Катю, которая въ Москвѣ такъ часто и такъ мучительно не сливалась съ Катей, созданной его желаніемъ.

## ІХ

Первый разъ жилъ онъ теперь дома взрослымъ, независимымъ человѣкомъ, съ которымъ даже мама держалась какъ-то иначе, чѣмъ прежде, а главное, жилъ съ первой настоящей любовью въ душѣ, уже осуществляя то самое, чего втайнѣ ждало все его существо съ дѣтства, съ отрочества, то единственно, для чего оно росло и зрѣло, можетъ быть, съ самаго перваго своего дня на землѣ.

Еще въ младенствѣ дивно и таинственно шевельнулось въ немъ нѣчто невыразимое на человѣческомъ языкѣ. Когда-то и гдѣ-то, должно быть, тоже весной, въ саду, возлѣ кустовъ сирени, — запомнился острый запахъ шпанскихъ мухъ, — онъ, совсѣмъ маленькій, стоялъ съ какой-то молодой женщиной, — вѣроятно, съ своей нянькой, — и вдругъ что-то точно озарилось передъ нимъ небеснымъ свѣтомъ, — не то лицо ея, не то сарафанъ на полной груди, — и что-то горячей волной прошло, взыграло въ немъ, истинно какъ дитя во чревѣ матери... Но то было какъ во снѣ. Какъ во снѣ было и все, что было потомъ, — въ дѣтствѣ, отрочествѣ, въ гимназическіе годы. Были какія-то особы, ни на что не похожія восхищенія то одной, то другой изъ тѣхъ дѣвочекъ, которыя пріѣзжали со своими матерями на его дѣтскіе праздники, тайное жадное любопытство къ каждому движенію этого чарующаго, тоже ни на что не похожаго маленькаго существа въ платицѣ, въ башмачкахъ, съ бантомъ

шелковой ленты на головкѣ. Было (это уже позднѣе, въ губернскомъ городѣ) длившееся почти всю осень и уже гораздо болѣе сознательное восхищеніе гимназисточкой, часто появлявшейся по вечерамъ на деревѣ за заборомъ сосѣдняго сада: ея рѣзвость, насмѣшливость, коричневое платьице, круглый гребешокъ въ волосахъ, грязныя ручки, смѣхъ, звонкій крикъ — все было таково, что Митя думалъ о ней съ утра до вечера, грустилъ, порою даже плакалъ, неутолимо чего-то желая отъ нея. Потомъ и это какъ-то само собой кончилось, забылось, и были новыя, болѣе или менѣе долгія, — и опять таки сокровенныя, — восхищенія, были острыя радости и горести внезапной влюбленности на гимназическихъ балахъ, а въ четвертомъ классѣ былъ даже почти настоящій романъ съ высокой чернобровой шестиклассницей, когда Митя въ первый разъ въ жизни коснулся однажды — только однажды — нѣжной дѣвичьей щеки губами и испыталъ такой неземной, подобный первому причастію трепеть, равнаго которому онъ потомъ уже никогда не испытывалъ, даже съ Катей. А затѣмъ, когда и этотъ романъ какъ-то оборвался и забылся, долго были только однѣ томленія въ тѣлѣ, въ сердцѣ-же только какія-то предчувствія, ожиданія. Теперь было особенно ясно, что до встрѣчи съ Катей вся его жизнь, всѣ восхищенія, мечты и надежды были только сномъ со смутными видѣніями, наитіями, когда даже весна такъ невнятно, хотя и плѣнительно, входила въ его душу.

Онъ родился и выросъ въ деревнѣ, но гимназистомъ поневолѣ проводилъ весну въ городѣ, за исключеніемъ одного года, позапрошлаго, когда онъ, пріѣхавъ въ деревню на масляницу, захворалъ и, поправляясь, пробылъ дома мартъ и половину апрѣля. Это

было незабвенное время. Недѣли двѣ онъ лежалъ и только въ окно видѣлъ каждый день мѣняющіяся вмѣстѣ съ увеличеніемъ въ мірѣ тепла и свѣта небеса, снѣгъ, садъ, его стволы и вѣтви. Онъ видѣлъ: вотъ утро, и въ комнатѣ такъ ярко и тепло отъ солнца, что уже ползаютъ по стекламъ оживающія мухи... вотъ послѣобѣденный часъ на другой день: солнце за домомъ, съ другой его стороны, а въ окнѣ уже до голубизны блѣдный весенній снѣгъ и мраморное небо — крупныя бѣлыя облака въ синевѣ, въ вершинахъ деревьевъ... а вотъ, еще черезъ день, въ облачномъ небѣ такія яркія прогалины и на корѣ деревьевъ такой мокрый блескъ и такъ каплетъ съ крыши надъ окномъ, что не нарадуешься, не нагладишься... Послѣ же этого пошли теплые туманы, дожди, снѣгъ распустило и съѣло въ нѣсколько сутокъ, тронулась рѣка, стала радостно и ново чернѣть, обнажаться и въ саду, и на дворѣ земля... И надолго запомнился Митѣ одинъ день въ концѣ марта, когда онъ въ первый разъ поѣхалъ верхомъ въ поле. Небо не ярко, но такъ живо, такъ молодо свѣтилось въ блѣдныхъ, въ безцвѣтныхъ деревьяхъ сада. Въ полѣ еще свѣжо дуло, жнивья были дики и рыжи, а тамъ, гдѣ пахали, — уже пахали подъ овесъ, — маслянисто, съ первобытной мощью чернѣли взметы. И онъ цѣликомъ ѣхалъ по этимъ жнивьямъ и взметамъ по направленію къ лѣсу, лежавшему вдаль, въ лощинахъ, и издалека видѣлъ его въ чистомъ воздухѣ, — голый, маленькій, видный изъ конца въ конецъ, — потомъ спустился въ эти лощины и зашумѣлъ копытами лошади по глубокой прошлогодней листвѣ, мѣстами совсѣмъ сухой, палевой, мѣстами мокрой, коричневой, переѣхалъ засыпанные ею овраги, гдѣ еще шла полая вода, а изъ-подъ кустовъ съ трескомъ вырывались прямо изъ-подъ

ногъ лошади смугло-золотые вальдшнепы... Чѣмъ была для него вся эта весна и особенно этотъ день, когда такъ свѣжо дуло навстрѣчу ему въ полѣ, а лошадь, одолѣвавшая насыщенные влагой жнивья и черныя пашни, такъ шумно дышала широкими ноздрями, храпя и ревя нутромъ съ великолѣпной дикой силой? Казалось тогда, что именно эта весна и была его первой настоящей любовью, днями сплошной влюбленности въ кого-то и во что-то, когда онъ любилъ всѣхъ гимназистокъ и всѣхъ дѣвокъ въ мірѣ. Но какимъ далекимъ казалось ему это время теперь! Насколько былъ онъ тогда еще совсѣмъ мальчишкѣ, невинный, простосердечный, бѣдный своими скромными печальями, радостями и мечтаніями! Теперь этого мальчика даже жалко было, какой-то грустной и нѣжной жалостью. Сномъ или скорѣе воспоминаніемъ о какомъ-то чудесномъ снѣ была тогда его безпредметная, безплотная любовь. Теперь же въ мірѣ была Катя, была душа, этотъ міръ воплотившая и надо всѣмъ надъ нимъ торжествующая.

## Х

Только разъ за это первое время Митиной деревенской жизни напомнила о себѣ Катя зловѣще.

Однажды поздно вечеромъ, возбужденный сладострастными мечтами о Катѣ, Митя на минуту вышелъ на заднее крыльцо. Было очень темно, тихо, пахло сырмъ полемъ. Изъ-за ночныхъ облаковъ, надъ смутными очертаніями сада, слезились мелкія звѣзды. И вдругъ гдѣ-то вдали что-то дико, дьявольски гукнуло и закатилось лаемъ, визгомъ. Митя вздрогнулъ, оцѣпенѣлъ, потомъ осторожно сошелъ съ крыльца,

вошелъ въ темную, какъ-бы со всѣхъ сторонъ враждебно сторожащую его аллею, снова остановился и сталъ ждать, слушать: что это такое, гдѣ оно, — то, что такъ неожиданно и страшно огласило садъ? Сычъ, конечно, пугачъ, совершающій свою любовь, и больше ничего, думалъ онъ, а весь замиралъ какъ бы отъ незримаго присутствія въ этой тѣмѣ самого дьявола. И вдругъ опять раздался гулкій, всю Митину душу потрясшій вой, гдѣ-то близко, въ верхушкахъ аллеи, затрещало, зашумѣло — и дьяволъ безшумно перенесся куда-то въ другое мѣсто сада. Тамъ онъ сначала залаялъ, потомъ сталъ жалобно, моляще, какъ ребенокъ, ныть, плакать, хлопать крыльями и клекотать съ мучительнымъ наслажденіемъ, сталъ взвизгивать, закатываться такимъ ерническимъ смѣхомъ, точно его щекотали и пытали. Митя весь дрожа, впился въ темноту и глазами, и слухомъ. Но дьяволъ вдругъ сорвался, захлебнулся и, прорѣзавъ темный садъ предсмертно-истомнымъ воплемъ, точно сквозь землю провалился. Напрасно прождавъ возобновленія этого любовнаго ужаса еще нѣсколько минутъ, Митя тихо вернулся домой — и всю ночь мучился сквозь сонъ всѣми тѣми болѣзненными и отвратительными мыслями и чувствами, въ которыя превратилась въ мартѣ въ Москвѣ его любовь. А, — думалъ онъ, — кто знаетъ, гдѣ и съ кѣмъ теперь Катя и не совершаетъ-ли и она въ эту ночь свою животную любовь!

Однако утро, при солнцѣ, его ночныя терзанія быстро разсѣялись. Онъ вспомнилъ, какъ заплакала Катя, когда они твердо рѣшили, что онъ долженъ на время уѣхать изъ Москвы, вспомнилъ, съ какимъ восторгомъ она ухватилась за мысль, что онъ тоже пріѣдетъ въ Крымъ въ началѣ іюня, и какъ трогательно помогала она ему въ его приготовленіяхъ къ отъѣзду,



какъ провожала она его на вокзалѣ... Онъ вынулъ ея фотографическую карточку, долго, долго вглядывался въ ея маленькую нарядную головку, поражаясь чистотой, ясностью ея прямого, открытаго (чуть круглаго) взгляда... Потомъ написалъ ей особенно длинное и особенно сердечное письмо, полное вѣры въ ихъ любовь, и опять возвратился къ непрестанному ощущенію ея любовнаго и свѣтлаго пребыванія во всемъ, чѣмъ онъ жилъ и радовался.

Онъ помнилъ, что онъ испыталъ, когда умеръ отецъ, девять лѣтъ тому назадъ. Это было тоже весной. На другой день послѣ этой смерти, робко, съ недоумѣніемъ и ужасомъ пройдя по залу, гдѣ съ высоко поднятой грудью и сложенными на ней большими блѣдными руками лежалъ на столѣ, чернѣлъ своей сквозной бородой и бѣлѣлъ носомъ наряженный въ дворянскій мундиръ отецъ, Митя вышелъ на крыльцо, глянулъ на стоявшую возлѣ двери огромную крышку гроба, обитую золотой парчей, — и вдругъ почувствовалъ: въ мірѣ смерть! Она была во всемъ: въ солнечномъ свѣтѣ, въ весенней травѣ на дворѣ, въ небѣ, въ саду... Онъ пошелъ въ садъ, въ пеструю отъ свѣта липовую аллею, потомъ въ боковыя аллеи, еще болѣе солнечныя, глядѣлъ на деревья и на первыхъ бѣлыхъ бабочекъ, слушалъ первыхъ сладко заливающихся птицъ — и ничего не узнавалъ: во всемъ была смерть, страшный столъ въ залѣ и длинная парчевая крышка на крыльцѣ! Не попрежнему, какъ-то не такъ свѣтило солнце, не такъ зеленѣла трава, не такъ замирали на весенней, только еще сверху горячей травѣ бабочки, — все было не такъ, какъ сутки тому назадъ, все преобразилось какъ бы отъ близости конца міра, и жалка, горестна стала прелесть весны, ея вѣчной юности! И это длилось долго и потомъ, длилось всю весну, какъ

еще долго чувствовался — или мнился — въ вымытомъ и много разъ провѣтренномъ домѣ страшный, мерзкій, сладковатый запахъ...

Такое же навожденіе, — только совсѣмъ другого порядка, — испытываль Митя и теперь: эта весна, весна его первой любви, тоже была совершенно иная, чѣмъ всѣ прежнія весны. Мірѣ опять былъ преображенъ, опять полонъ какъ будто чѣмъ-то постороннимъ, но только не враждебнымъ, не ужаснымъ, а напротивъ, — дивно сливающимся съ радостью и молодостью весны. И это постороннее была Катя или, вѣрнѣе, то прелестнѣйшее въ мірѣ, чего отъ нея хотѣлъ, требоваль Митя. Теперь, по мѣрѣ того какъ шли весенніе дни, онъ требоваль отъ нея все больше и больше. И теперь, когда ея не было, былъ только ея образъ, образъ не существующій, а только желанный, она, казалось, ничѣмъ не нарушала того безпорочнаго и прекраснаго, чего отъ нея требовали, и съ каждымъ днемъ все живѣе и живѣе чувствовалась во всемъ, на что бы ни взглянулъ Митя.

## XI

Онъ съ радостью убѣдился въ этомъ въ первую-же недѣлю своего пребыванія дома. Тогда былъ какъ бы еще канунъ весны. Онъ сидѣлъ съ книгой возлѣ открытаго окна гостиной, глядѣлъ межъ стволовъ пихтъ и сосенъ въ палисадникѣ на грязную рѣчку въ лугахъ, на деревню на косогорахъ за рѣчкой: еще съ утра до вечера, неустанно, изнемогая отъ блаженной хлопотливости, такъ, какъ орутъ они только ранней весной, орали грачи въ голыхъ вѣковыхъ березахъ въ сосѣднемъ помѣщичьемъ саду, и еще дикъ, сѣрь

былъ видъ деревни на косогорахъ и только еще однѣ лозины покрывались тамъ желтоватой зеленью... Онъ шель въ садъ: и садъ былъ еще низокъ и голъ, прозраченъ, — только зеленѣли поляны, всѣ испещренныя мелкими бирюзовыми цвѣточками, да опушился акатникъ вдоль аллеи и блѣдно бѣлѣлъ, мелко цвѣлъ одинъ вишенникъ въ лощинѣ, въ южной, нижней части сада... Онъ выходилъ въ поле: еще пусто, сѣро было въ полѣ, еще щеткой торчало жнивье, еще колчеваты и фіолетовы были высохшія полевья дороги... И все это была нагота молодости, поры ожиданія — и все это была Катя. И это только такъ казалось, что отвлекаютъ дѣвки поденщицы, дѣлающія то то, то другое въ усадьбѣ, работники въ людской, чтеніе, прогулки, хожденіе на деревню къ знакомымъ мужикамъ, разговоры съ мамой, поѣздки со старостой (рослымъ, грубымъ отставнымъ солдатомъ) въ поле на бѣговыхъ дрожкахъ.

Потомъ прошла еще недѣля. Разъ ночью былъ обломный дождь, а потомъ горячее солнце какъ-то сразу вошло въ силу, весна потеряла свою кротость и блѣдность, и все вокругъ на глазахъ стало мѣняться не по днямъ, а по часамъ. Стали распахивать, превращать въ черный бархатъ жнивья, зазеленѣли полевья межи, сочнѣе стала мурава на дворѣ, гуще и ярче засинѣло небо, быстро сталъ одѣваться садъ свѣжей, мягкой даже на видъ зеленью, залиловѣли и запахли сѣрыя кисти сирени и уже появилось множество черныхъ, металлически блестящихъ синевой крупныхъ мухъ на ея темно-зеленой глянцевиной листьѣ и на горячихъ пятнахъ свѣта на дорожкахъ. На яблоняхъ, грушахъ еще были видны вѣтви, ихъ едва тронула мелкая, сѣроватая и особенно мягкая листва, но за то весь фруктовый садъ уже зацвѣлъ, —

яблони и груши, всюду простиравшія сѣти своихъ кривыхъ вѣтвей подъ другими деревьями, всѣ закудрявились млечнымъ снѣгомъ, и съ каждымъ днемъ этотъ цвѣтъ становился все бѣлѣе, все гуще и все благовоннѣе. Въ это дивное время радостно и пристально наблюдалъ Митя за всѣми весенними измѣненіями, происходящими вокругъ него. Но Катя не только не отступала, не терялась среди нихъ, а напротивъ, — она участвовала въ нихъ во всѣхъ и всему придавала себя, свою красоту, расцвѣтающую вмѣстѣ со всѣмъ расцвѣтомъ весны, съ этимъ все роскошнѣе бѣлѣющимъ садомъ и все темнѣе синѣющимъ небомъ.

## XII

И вотъ однажды, выйдя въ залъ, полный предвечерняго солнца, къ чаю, Митя неожиданно увидѣлъ возлѣ самовара почту, которую онъ напрасно ждалъ все утро. Онъ быстро подошелъ къ столу — уже давно должна была Катя отвѣтить хоть на одно изъ писемъ, что отправилъ онъ ей, — и ярко и жутко блеснулъ ему въ глаза небольшой изысканный конвертъ съ надписью на немъ знакомымъ жалкимъ почеркомъ. Онъ схватилъ его и зашагалъ вонъ изъ дома, потомъ по саду, по главной аллеѣ. Онъ ушелъ въ самую дальнюю часть сада, туда, гдѣ черезъ него проходила лощина, и, остановясь и оглянувшись, быстро разорвалъ конвертъ. Письмо было кратко, всего въ нѣсколько строкъ, но Митѣ нужно было разъ пять прочесть ихъ, чтобы наконецъ понять — такъ колотилось его сердце. «Мой любимый, мой единственный!» — читалъ и перечитывалъ онъ — и земля плыла у него подъ ногами отъ этихъ восклицаній. Онъ поднялъ глаза: — надъ

садомъ торжественно и радостно сіяло небо, вокругъ сіялъ садъ своей снѣжной бѣлизной, соловей, уже чуя предвечерній холодокъ, четко и сильно, со всей сладостью соловьиного самозабвенія, щелкалъ въ свѣжей зелени дальнихъ кустовъ — и кровь отлила отъ его лица, мурашки побѣжали по волосамъ...

Домой онъ шель медленно — чаша его любви была полна съ краями. И такъ же осторожно носилъ онъ ее въ себѣ и слѣдующіе дни, тихо и счастливо, даже гордо ожидая новаго письма.

### XIII

Дни шли, смѣнялись одинъ другимъ, а новаго письма не было. «Будеть, будеть!» — безъ словъ говорилъ себѣ Митя. Но письма все не было, и понемногу имъ стало овладѣвать тайное безпокойство.

Садъ разнообразно одѣвался, садъ цвѣлъ.

Огромный старый клень, возвышавшійся надъ всей южной частью сада, видный отовсюду, сталъ еще больше и виднѣе, — одѣлся до послѣдней вѣтви и зеленѣлъ ярко и пышно на диво.

Выше и виднѣе стала и главная аллея, на которую Митя постоянно смотрѣлъ изъ своихъ оконъ: вершины ея старыхъ липъ, тоже покрывшіяся, хотя еще и прозрачно, узоромъ юной листвы, поднялись и протянулись надъ садомъ свѣтло-зеленой грядю.

А ниже клена, ниже аллеи и другихъ одѣвшихся деревьевъ лежало цѣлое море кудряваго сливочнаго цвѣта, благоухающее въ солнечномъ свѣтѣ.

И все это: огромная и пышная вершина клена, свѣтло-зеленая гряда аллеи, подвѣчная бѣлизна яблонь, грушъ, черемухъ, солнце, синева неба и все

то, что разрасталось въ низахъ сада, въ лощинѣ, вдоль боковыхъ аллей и дорожекъ и подъ фундаментомъ южной стѣны дома, то есть кусты сирени, акаціи и смородины, лопухи, крапива, чернобыльникъ, все поражало и радовало своей густотой, свѣжестью и новизной.

На чистомъ зеленомъ дворѣ отъ надвигающейся отовсюду растительности стало какъ будто тѣснѣе, домъ сталъ какъ будто меньше и красивѣе. Онъ какъ будто ждалъ гостей — по цѣлымъ днямъ были открыты и двери, и окна во всѣхъ комнатахъ: въ бѣломъ залѣ, въ синей старомодной гостиной, въ маленькой диванной, тоже синей и увѣшанной овальными миниатюрами, и въ солнечной библиотекѣ, большой и пустой угловой комнатѣ со старыми иконами въ переднемъ углу и низкими книжными шкапами изъ ясени вдоль стѣнъ. И вездѣ въ комнаты празднично глядѣли приблизившіяся къ дому разнообразно зеленыя, то свѣтлыя, то темныя, деревья съ яркой синевою между вѣтвями.

Но письма не было. И Митѣ было уже не по себѣ. Онъ зналъ неспособность Кати къ письмамъ и то, какъ трудно ей всегда собраться сѣсть за письменный столъ, найти перо, бумагу, конвертъ, а главное, не забыть купить марку и остановиться возлѣ почтоваго ящика. Онъ напоминалъ себѣ, что вѣдь спокоенъ-же былъ онъ цѣлыхъ двѣ недѣли до полученія перваго письма. Но разумныя соображенія опять стали плохо помогать. Счастливая, даже гордая увѣренность, съ которой онъ нѣсколько дней ждалъ втораго письма, исчезла, — онъ томился и тревожился все сильнѣе. Вѣдь за такимъ письмомъ, какъ первое, немедленно, тотчасъ-же должно было послѣдовать что-то еще болѣе прекрасное и радующее. Но Катя молчала.

Онъ рѣже сталъ ходить на деревню, ѣздить въ поле. Одно время онъ даже началъ сидѣть въ библіотекѣ, рыться въ ясеневыхъ шкапахъ, перелистывать журналы, уже десятки лѣтъ желтѣвшіе и сохнувшіе въ нихъ. Къ чтенію онъ былъ не склоненъ — Протасовъ не даромъ называлъ его «малограмотнымъ», — но въ журналахъ было много прекрасныхъ стиховъ старыхъ поэтовъ, чудесныхъ строкъ, говорившихъ, конечно, почти всегда объ одномъ, — о томъ, чѣмъ полны всѣ стихи и пѣсни съ начала міра, чѣмъ жила теперь и его душа и что неизмѣнно могъ онъ такъ или иначе отнести къ самому себѣ, къ своей любви, къ Катѣ. И онъ по цѣлымъ часамъ неподвижно сидѣлъ въ креслѣ возлѣ раскрытаго шкапа и на всѣ лады сладко мучилъ себя, читая и перечитывая:

Люди спятъ, мой другъ, пойдемъ въ тѣнистый садъ!  
Люди спятъ, однѣ лишь звѣзды къ намъ глядятъ,  
Да и тѣ не видятъ насъ среди вѣтвей  
И не слышатъ, — слышитъ только соловей,  
Да и тотъ не слышитъ: пѣснь его громка,  
Развѣ слышитъ только сердце и рука,  
Слышитъ сердце, сколько радостей земли,  
Сколько счастья сюда мы принесли!

Всѣ эти чарующія слова, всѣ эти призывы были какъ бы его собственными, обращены были теперь какъ будто только къ одной, къ той, кого неотступно видѣлъ во всемъ и всюду онъ, Митя, и звучали порою почти грозно:

Надъ зеркальными водами  
Машутъ лебеди крылами —  
И колышется рѣка:  
О приди-же! Звѣзды блещутъ,

Листья медленно трепещуть  
И находятъ облака...

Онъ, закрывая глаза, холодѣя, по нѣскольکو разъ кряду повторялъ этотъ призывъ, зовъ сердца, переполненнаго любовной силой, жаждущей своего торжества, блаженнаго разрѣшенія. Потомъ долго смотрѣлъ передъ собою, слушалъ глубокое деревенское молчаніе, окружавшее домъ, — и горько качалъ головой. Нѣтъ, она не отзывалась, она безмолвно сіяла гдѣ-то тамъ, въ чужомъ и далекомъ московскомъ мірѣ! А развѣ тамъ было ея мѣсто? Развѣ ей не наполнилъ онъ?

Ты помнишь-ли, Марія,  
Одинъ старинный домъ,  
И липы вѣковыя  
Надъ дремлющимъ прудомъ?  
Безмолвныя аллеи,  
Заглохшій старый садъ,  
Въ высокой галлерей  
Портретовъ длинный рядъ?

И непонятныя слезы загорались у него на глазахъ, когда онъ читалъ строки, столь какъ-будто неподходящія къ его любви, а межъ тѣмъ почему-то до боли умилавшія его:

Я твой, родимая дуброва!  
Но отъ насильственныхъ судьбинъ  
Молить хранительнаго крова  
Къ тебѣ пришелъ я не одинъ:  
Привелъ подъ сѣнь твою святую  
Я соучастницу въ мольбахъ, —  
Мою супругу молодую  
Съ младенцемъ тихимъ на рукахъ...



Но чаще всего уносило его совсѣмъ въ другой міръ:

Клонить къ лѣни полдень жгучій,  
Въ листьяхъ замеръ каждый звукъ,  
Въ розѣ, пышной и пахучей,  
Нѣжась, спитъ блестящій жукъ, —

читаль и перечитываль онъ — и его охватывали страстныя мечты о встрѣчѣ съ Катей въ Крыму, о Мисхорѣ. Боже мой, неужели никогда не дождется онъ этого жгучаго полдня, розѣ и лавровѣ, моря, горящаго синимъ пламенемъ между кипарисами! Неужели Богъ лишитъ его этого счастья — нѣкогда сказать ей:

Ты помнишь-ли вечеръ, какъ море шумѣло,  
Въ шиповникѣ пѣлъ соловей,  
Душистыя вѣтки акаціи бѣлой  
Качались на шляпкѣ твоей?

Холодѣя и блѣднѣя отъ этого безотвѣтнаго вопроса, онъ тупо глядѣлъ передъ собою, потомъ голова его медленно клонилась... И опять медленно таяла, отливала отъ его сердца грусть, нѣжность — и опять, опять росло и ширилось что то жестокое и зловѣщее, страстное и грозное, какъ нѣкое неотразимое заклятіе:

Надъ зеркальными водами  
Машутъ лебеди крылами —  
И колышется рѣка:  
О приди-же! Звѣзды блещутъ,  
Листья медленно трепещутъ,  
И находятъ облака...

Однажды, подремавъ послѣ обѣда, — обѣдали въ полдень — Митя вышелъ изъ дома и не спѣша пошелъ въ садъ. Въ саду часто работали дѣвки, окапывали яблони, работали онѣ и нынче. Митя шелъ посидѣть возлѣ нихъ, поболтать съ ними, — это уже входило у него теперь въ привычку.

День былъ жаркій, тихій. Митя шелъ въ сквозной тѣни аллеи и далеко видѣлъ справа отъ себя, подъ солнцемъ, кудрявыя бѣлоснѣжныя вѣтви. Особенно силенъ, густъ былъ цвѣтъ на грушахъ, и смѣсь этой бѣлизны и яркой синевы неба давала фіолетовый оттѣнокъ. И груши, и яблони цвѣли и осыпались, разрытая земля подъ ними была вся усѣяна блеклыми лепестками. Въ тепломъ воздухѣ чувствовался ихъ сладковатый нѣжный запахъ вмѣстѣ съ запахомъ нагрѣтаго и прѣющаго на скотномъ дворѣ навоза. Иногда находило облачко, синее небо голубѣло, и теплый воздухъ и эти тлѣнные запахи дѣлались еще нѣжнѣе и слаще. И все душистое тепло этого весенняго рая дремотно и блаженно гудѣло отъ пчелъ и шмелей, зарывавшихся въ его медвяный кудрявый снѣгъ. И все время, блаженно скучая, по дневному, то тамъ, то здѣсь цокалъ то одинъ, то другой соловей.

Аллея кончалась вдали воротами на гумно. Вдали налѣво, въ углу садоваго вала, чернѣлъ ельникъ. Возлѣ ельника пестрѣли среди яблонь двѣ дѣвки. Митя, какъ всегда, повернулъ со середины аллеи на нихъ, — нагибаясь, пошелъ среди низкихъ и раскидистыхъ вѣтвей, женственно касавшихся его лица и пахнувшихъ и медомъ, и какъ будто лимономъ. И, какъ всегда, одна изъ дѣвокъ, рыжая, худая Сонька,

лишь только завидѣла его, дико захохотала и закричала:

— Ой, хозяинъ идетъ! — закричала она съ притворнымъ испугомъ и, соскочивъ съ толстаго сука груши, на которомъ она отдыхала, кинулась къ лопатѣ.

Другая дѣвка, Глашка, сдѣлала, напротивъ, видъ, что совсѣмъ не замѣчаетъ Митю и, не спѣша, крѣпко ставя на желѣзную лопату ногу въ мягкой чунѣ изъ чернаго войлока, за которую набились бѣлые лепестки, энергично врѣзая лопату въ землю и перерачивая отрѣзанный ломоть, громко запѣла сильнымъ и пріятнымъ голосомъ: «Ужъ ты садъ, ты мой садъ, для кого-жъ ты цвѣтешь!» Это была дѣвка рослая, мужественная и всегда серьезная.

Митя подошелъ и сѣлъ на мѣсто Соньки, на старый грушевый сукъ, лежавшій на разсохѣ. Сонька ярко глянула на него и громко, съ дѣланной развязностью и веселостью спросила:

— Ай только встали? Ай дюже счастливый сонъ снился? Не слышали, какъ соловей-то подь вашимъ окномъ пѣлъ? Смотрите, дѣла не проспите!

Митя нравился ей, и она всячески старалась скрыть это, но не умѣла, держала себя при немъ неловко, говорила что попало, всегда однако намекая на что-то, смутно угадывая, что разсѣянность, съ которой Митя постоянно и приходилъ и уходилъ, не простая. Она подозрѣвала, что Митя живетъ съ Парашей или, по крайней мѣрѣ, домогается этого, она ревновала и говорила съ нимъ то нѣжно, то рѣзко, глядѣла то томно, давая понять свои чувства, то холодно и враждебно. И все это доставляло Митѣ странное удовольствіе. Письма не было и не было, онъ теперь не жилъ, а только изо дня въ день существовалъ въ непрестанномъ ожиданіи, все болѣе томясь этимъ ожиданіемъ

и невозможностью ни съ кѣмъ подѣлиться тайной своей любви и муки, поговорить о Катѣ, о своихъ надеждахъ на Крымъ, и потому намеки Соньки на какую-то его любовь были ему пріятны: вѣдь все таки эти разговоры какъ бы касались того сокровеннаго, чѣмъ томилась его душа. Волновало его и то, что Сонька влюблена въ него, а значить, отчасти близка ему, что дѣлало ее какъ-бы тайной соучастницей любовной жизни его души, даже давало порой странную надежду, что въ Сонькѣ можно найти не то наперсницу своихъ чувствъ, не то нѣкоторую замѣну Кати: вѣдь и Сонька была дѣвушка, женщина, вообще то страшное, дивное, женское, къ чему такъ жадно стремился онъ.

Теперь Сонька, сама того не подозрѣвая, опять коснулась его тайны: «Смотрите, дѣла не проспите!» Онъ посмотрѣлъ вокругъ. Сплошная темно-зеленая чаща ельника, стоявшая передъ нимъ, казалась отъ яркости дня почти черной, и небо сквозило въ ея острыхъ верхушкахъ особенно великолѣпной синевою. Молодая зелень липъ, кленовъ, вязовъ, насквозь свѣтлая отъ солнца, всюду проникавшаго ее, составляла по всему саду легкой радостный навѣсъ, сыпала пестроту тѣни и яркихъ пятенъ на траву, на дорожки, на поляны; жаркій и душистый цвѣтъ, бѣлѣвшій подъ этимъ навѣсомъ, казался фарфоровымъ, сіялъ, свѣтился тамъ, гдѣ солнце тоже проникало его. Митя подумалъ:

Только въ мірѣ и есть, что тѣнистый  
Дремлющихъ кленовъ шатерь...

Только въ мірѣ и есть, что душистый  
Милой головки приборъ... —

и, противъ воли улыбаясь, спросилъ Соньку:

— Какое-же дѣло я могу проспять? То-то и горе, что у меня и дѣль-то никакихъ нѣту.

— Молчите ужъ, не божитесь, и такъ повѣрю! — крикнула Сонька въ отвѣтъ весело и грубо, опять своимъ недовѣріемъ къ отсутствію у Мити любовныхъ дѣль доставляя ему удовольствіе, и вдругъ опять заорала, отмахиваясь отъ рыжаго, съ бѣлой курчавой шерсткой на лбу теленка, который медленно вышелъ изъ ельника, подошелъ къ ней сзади и сталъ жевать оборку ея ситцеваго платья:

— Ахъ, оморокъ тебя возьми! Вотъ еще сыночка Богъ послалъ!

— Правда, говорятъ, за тебя сватаются? — сказала Митя, не зная, что сказать, а желая продолжить разговоръ. — Говорятъ, дворъ богатый, малый красивый, а ты отказала, отца не слушаешься...

— Богатъ, да дурковать, въ головѣ рано смеркается, — бойко отвѣтила Сонька, нѣсколько польщенная. — У меня, можетъ, объ другомъ объ комъ думки идутъ...

Серьезная и молчаливая Глашка, не прерывая работы, покачала головой:

— Ужъ и несешь ты, дѣвка, и съ Дону, и съ моря! — не громко сказала она. — Ты тутъ брешешь спросонья, а по селу слава пойдетъ...

— Молчи, не кудахтай! — крикнула Сонька. — Авось я не ворона, есть оборона!

— А о комъ-же это о другомъ у тебя думки идутъ? — спросилъ Митя.

— Такъ и призналась! — сказала Сонька. — Вонъ въ вашего дѣда пастуха влюбилась. Увижу, такъ до пяты горячо! Я, не хуже вашего, все на старыкъ лошадахъ ѣзжу, — сказала она вызывающе, намекая, очевидно, на двадцатилѣтнюю Парашу, которая на

деревнѣ считалась уже старой дѣвкой. И, внезапно бросивъ лопату, со смѣлостью, на которую она какъ будто имѣла нѣкоторое право вслѣдствіе своей тайной влюбленности въ барчука, сѣла на землю, вытянула и слегка раздвинула ноги въ старыхъ грубыхъ полсапожкахъ и въ шерстяныхъ пѣгихъ чулкахъ и безпомощно уронила руки.

— Охъ, ничего не дѣлала, а уморилась! — крикнула она, смѣясь. — Сапоги мои худые, — пронзительно запѣла она, —

Сапоги мои худые,  
Носки лаковые,  
Что у дѣвокъ, что у бабъ —  
Одинаковыя! —

и опять закричала, смѣясь:

— Пойдемте со мной въ салашъ отдыхать, я на все согласная!

Смѣхъ этотъ заразилъ Митю. Широко и неловко улыбаясь, онъ соскочилъ съ сука и, подойдя къ Сонькѣ, легъ и положилъ ей голову на колѣни. Сонька скинула ее — онъ опять положилъ, опять думая стихами, которыхъ онъ начитался за послѣдніе дни:

Вижу, роза, — счастья сила  
Яркій свитокъ твой раскрыла  
И увлажила росой —  
Необъятный, непонятный,  
Благовонный, благодатный  
Міръ любви передо мной...

— Не трожьте меня! — закричала Сонька уже съ искреннимъ испугомъ, стараясь поднять и отбросить его голову, которую онъ напруживалъ. — А то такъ закричу, всѣ волки въ лѣсу завоютъ! У меня ничего

для васъ нѣту, горѣло, да потухло! Я тонка, да звонка, для васъ не подходяща!

Митя закрылъ глаза и молчалъ. Солнце, дробясь черезъ листву, вѣтви и грушевый цвѣтъ, горячими пятнами пестрило, щекотало его лицо. Сонька нѣжно и зло рванула его черные жесткіе волосы, — «чисто у лошади!» — крикнула она, — и прикрыла ему картузомъ глаза. Подъ затылкомъ онъ чувствовалъ ея ноги, — самое страшное въ мірѣ, женскія ноги! — макушкой касался ея живота, слышалъ запахъ ситцевой юбки и кофточки, и все это мѣшалось съ цвѣтущимъ садомъ и съ Катей; томное цоканье соловьевъ вдали и вблизи, немолчное сладострастно-дремотное жужжаніе несмѣтныхъ пчель, медвяный теплый воздухъ и даже простое ощущеніе земли подъ спиною мучило, томило жаждой какого-то сверхчеловѣческаго счастья. И вдругъ въ ельникѣ что-то зашуршало, весело и злорадно захохотало, потомъ гулко раздалось: «ку-ку! ку-ку!» — и такъ жутко, такъ выпукло, такъ близко и такъ явственно, что слышенъ былъ хрипъ и дрожаніе остраго язычка, а желаніе Кати и желаніе, требованіе, чтобы она во что-бы то ни стало немедленно дала именно это сверхчеловѣческое счастье, охватило такъ неистово, что Митя, къ крайнему удивленію Соньки, порывисто вскочилъ и большими шагами зашагалъ прочь, съ притворнымъ смѣхомъ крикнувъ съ дороги:

— Нѣтъ, лучше пойду чай пить, а то съ тобой только до грѣха!

Вмѣстѣ съ этимъ неистовымъ желаніемъ, требованіемъ счастья, подъ этотъ гулкій голосъ, внезапно раздавшійся съ такой страшной явственностью надъ самой его головой въ ельникѣ и какъ будто до дна разверзшій лоно всего этого весенняго міра, онъ

вдругъ вообразилъ, что письма не будетъ и не можетъ быть, что въ Москвѣ что-то случилось или вотъ-вотъ случится, и что онъ погибъ, пропалъ!

## XV

Въ домѣ онъ на минуту остановился передъ зеркаломъ въ залѣ. «Она права, — подумалъ онъ, — глаза у меня, если и не византійскіе, то, во всякомъ случаѣ, сумасшедшіе. А эта худоба, грубая и костлявая нескладность, мрачная угольность бровей, жесткая чернота волосъ, дѣйствительно почти лошадиныхъ, какъ сказала Сонька?»

И онъ попробовалъ улыбнуться своимъ большимъ ртомъ съ той «милой мальчишеской неловкостью», за которую будто бы любила его Катя. И точно, улыбка, даже дѣланная, тотчасъ же все скрасила: онъ самъ почувствовалъ, до чего она нѣжная, дѣтски радостная, безпомощная.

Но сзади него послышался быстрый топотъ босыхъ ногъ. Онъ смутился, обернулся:

— Вѣрно, влюбились, все въ зеркало смотрите, — съ ласковой шутливостью сказала Параша, пробѣгая мимо съ кипящимъ самоваромъ въ рукахъ на балконъ.

— Васъ мама искали, — прибавила она, съ размаху ставя самоваръ на убранный къ чаю столъ и, обернувшись, быстро и зорко взглянула на Митю.

«Всѣ знаютъ, всѣ догадываются!» — подумалъ Митя и черезъ силу спросилъ:

— А гдѣ она?

— У себя въ комнатѣ. Да теперь онѣ къ чаю сейчасъ выйдутъ...



Солнце, обойдя домъ и уже переходя на западное небо, зеркально заглядывало подъ сосны и пихты, своими хвойными вѣтвями осѣнявшія балконъ. Кусты бересклета подъ ними блестяли тоже совсѣмъ по лѣтнему, стеклянно. Столъ, покрытый легкой тѣнью и кое-гдѣ жаркими пятнами свѣта, сіялъ скатертью. Осы вились надъ корзиночкой съ бѣлымъ хлѣбомъ, надъ граненой вазой съ вареньемъ, надъ чашками. И вся эта картина говорила о прекрасномъ деревенскомъ лѣтѣ и о томъ, какъ можно было бы быть счастливымъ, беззаботнымъ. Чтобы предупредить выходъ мамы, которая, конечно, не менѣе другихъ понимаетъ его положеніе, и чтобы показать, что у него вовсе нѣтъ никакихъ тяжелыхъ тайнъ на душѣ, Митя пошелъ изъ зала въ коридоръ, въ который выходили двери его комнаты, маминой и двухъ другихъ, гдѣ лѣтомъ жили Аня и Костя. Въ коридорѣ было сумрачно, въ комнатѣ Ольги Петровны синевато. Вся комната была тѣсно и уютно загромождена наиболѣе старинной мебелью, имѣвшей въ домѣ: шифоньерками, комодами, большой постелью и божницей, передъ которой, какъ обыкновенно, горѣла лампада, хотя Ольга Петровна никогда не проявляла особой религіозности. За открытыми окнами, на запущенномъ цвѣтникѣ передъ входомъ въ главную аллею, лежала широкая тѣнь, за тѣнью празднично зеленѣлъ и бѣлѣлъ въ упоръ освѣщенный садъ. Не глядя на весь этотъ давно привычный видъ, опустивъ глаза въ очкахъ на вязанье, Ольга Петровна, крупная и сухощавая, черная и серьезная сорокалѣтняя женщина, сидѣла у окна въ креслѣ и быстро ковыряла крючкомъ.

— Ты спрашивала меня, мама? — сказалъ Митя, входя и останавливаясь у порога.

— Да нѣтъ, я просто хотѣла тебя видѣть. Я вѣдь

теперь почти никогда, кромѣ обѣда, не вижу тебя, — отвѣтила Ольга Петровна, не прерывая работы и какъ-то особенно, не въ мѣру спокойно.

Митя вспомнилъ, какъ девятаго марта Катя сказала, что она почему-то боится его матери, вспомнилъ тайное очаровательное значеніе, которое, несомнѣнно, было въ ея словахъ... Онъ неловко пробормоталъ:

— Но ты, можетъ, хотѣла что-нибудь сказать мнѣ?

— Ничего, кромѣ того, что мнѣ кажется, что ты что-то заскучалъ послѣдніе дни, — сказала Ольга Петровна. — Можетъ, проѣхался бы куда-нибудь... къ Мещерскимъ, напримѣръ... Полонъ домъ невѣсть, — прибавила она, улыбаясь, — и вообще, по моему, очень милая и радушная семья.

— Какъ-нибудь на-дняхъ съ удовольствіемъ съѣзжу, — съ трудомъ отвѣтилъ Митя. — Но пойдемъ чай пить, тамъ такъ хорошо на балконѣ... Тамъ и поговоримъ, — сказалъ онъ, отлично зная, что мама, по своему пронизательному уму и по своей сдержанности, не будетъ больше возвращаться къ этому бесполезному разговору.

На балконѣ они просидѣли почти до заката. Мама послѣ чая продолжала вязать и говорить о сосѣдяхъ, о хозяйствѣ, объ Анѣ и Костѣ, — у Ани опять передержка въ августѣ! Митя слушалъ, порою отвѣчалъ, но все время испытывалъ нѣчто подобное тому, что онъ испытывалъ передъ отъѣздомъ изъ Москвы, — что опять онъ какъ будто пьянъ отъ какой-то тяжелой болѣзни, уже вступившей въ него, и что онъ еще разъ отрывается отъ Кати, переживаетъ какъ-бы новую разлуку съ ней, — несомнѣнно, въ Москвѣ случилось что-то роковое! — и разлуку на этотъ разъ такую страшную, передъ которой разлука, пережитая мѣсяць тому назадъ, была величайшимъ счастьемъ...

А вечеромъ онъ часа два безостановочно шагаль по дому взадъ и впередъ, насквозь проходя залъ, гостиную, диванную и библиотечку, вплоть до ея южнаго окна, открытаго въ садъ. Въ окна зала и гостиной мягко краснѣлъ межъ вѣтвями сосенъ и пихтъ закатъ, слышались голоса и смѣхъ работниковъ, собиравшихся къ ужину возлѣ людской. Въ пролетъ комнатъ, въ окно библиотечки, глядѣла ровная и безцвѣтная синева вечерняго неба съ неподвижной розовой звѣздой надъ ней; на фонѣ этой синевы картинно рисовалась зеленая вершина клена и бѣлизна, какъ-бы зимняя, всего того, что цвѣло въ саду. А онъ шагаль и шагаль, уже совсѣмъ не заботясь о томъ, какъ будетъ это истолковано въ домѣ. Зубы его были стиснуты до боли въ головѣ.

## XVI

Въ этотъ день Митина любовь претерпѣла жестокий переломъ.

Съ этого дня онъ пересталь слѣдить за всѣми тѣми переменами, что совершали вокругъ него весна, наступающее лѣто. Онъ видѣлъ и даже чувствовалъ ихъ, эти перемены, но онѣ потеряли для него свою самостоятельную цѣнность, онъ наслаждался ими только мучительно: чѣмъ было лучше, тѣмъ мучительнѣе было ему. Катя стала уже истиннымъ наводненіемъ; Катя была теперь во всемъ и за всѣмъ уже до нелѣпости, а такъ какъ всякій новый день все страшнѣе подтверждалъ, что она для него, для Мити, уже почти не существуетъ, что она уже въ чьей-то чужой власти, что она совершаетъ нѣчто чудовищное, — отдаетъ кому-то другому себя и свою любовь, всецѣло долженствующую принадлежать только ему,

Митѣ, — то и все въ мірѣ сдѣлалось не тѣмъ, что надо, стало казаться ненужнымъ, мучительнымъ и тѣмъ болѣе ненужнымъ и мучительнымъ, чѣмъ болѣе оно было прекрасно.

Все вокругъ него продолжало жить ровной жизнью, совершая въ мѣру силъ должное и возможное. Одинъ онъ былъ внѣ этой жизни, ничего не совершая, а только жаждая чего то тоже должнаго, даже стократъ болѣе должнаго, чѣмъ все прочее, но вмѣстѣ съ тѣмъ безмѣрнаго и, какъ теперь становилось все яснѣе, совершенно невозможнаго.

По ночамъ онъ почти не спалъ. Прелесть этихъ лунныхъ ночей была несравненна. Тихо, тихо стоялъ ночной млечный садъ. Осторожно, изнемогая отъ нѣги, пѣли ночные соловьи, состязаясь другъ съ другомъ въ сладости и тонкости пѣсенъ, въ ихъ чистотѣ, тщательности, звучности. И тихая, нѣжная, совсѣмъ блѣдная луна низко стояла надъ садомъ, и неизмѣнно сопутствовала ей мелкая, несказанно прелестная зыбь голубоватыхъ облаковъ. Митя спалъ съ незавѣшенными окнами, и садъ и луна всю ночь смотрѣли въ нихъ. И всякій разъ, какъ онъ открывалъ глаза и взглядывалъ на луну, онъ тотчасъ же мысленно произносилъ, какъ одержимый: «Катя!» — и съ такимъ восторгомъ, съ такой болью, что ему самому становилось дико: чѣмъ, въ самомъ дѣлѣ, могла напомнить ему Катю луна, а вѣдь напомнила-же, напомнила чѣмъ-то и, что всего удивительнѣе, даже чѣмъ-то зрительнымъ! А порою онъ просто ничего не видѣлъ: желаніе Кати, воспоминанія о томъ, что было между ними въ Москвѣ, охватывали его съ такой силой, что онъ весь дрожалъ лихорадочной дрожью, стучалъ зубами и молилъ Бога — и, увы, всегда напрасно! — увидать ее вмѣстѣ съ собой, вотъ на этой постели, хотъ

во снѣ. Однажды зимой онъ былъ съ ней въ Большомъ театрѣ на «Фаустѣ» съ Собиновымъ и Шалапинымъ. Почему-то въ этотъ вечеръ все казалось ему особенно восхитительнымъ: и свѣтлая, уже знойная и душистая отъ многолюдства бездна, зіявшая подъ ними, и краснобархатные, съ золотомъ, этажи ложъ, переполненные блестящими нарядами, и жемчужное сіяніе надъ этой бездной гигантской люстры, и льющіеся далеко внизу подъ маханье капельмейстера звуки увертюры, то гремящіе, дьявольскіе, то безконечно нѣжные и грустные: «Жиль, былъ въ Оулѣ добрый король...». Проводивъ послѣ этого спектакля, по крѣпкому морозу лунной ночи, Катю на Кисловку, Митя особенно поздно засидѣлся у нея, особенно изнемогъ отъ поцѣлуевъ и унесъ съ собой шелковую ленту, которой Катя завязывала себѣ на ночь косу. Теперь, въ эти мучительныя майскія ночи, онъ дошелъ до того, что не могъ думать безъ содраганія даже объ этой лентѣ, лежавшей въ его письменномъ столѣ.

А днемъ онъ спалъ, потомъ уѣзжалъ верхомъ въ то село, гдѣ была желѣзнодорожная станція и почта. Дни продолжали стоять погожіе. Перепадали дожди, пробѣгали грозы и ливни, и опять сіяло жаркое солнце, непрестанно творившее свою спѣшную работу въ садахъ, поляхъ и лѣсахъ. Садъ отцвѣталъ, осыпался, но зато продолжалъ буйно густѣть и темнѣть. Лѣса тонули уже въ несмѣтныхъ цвѣтахъ, въ высокихъ травахъ, и звучная глубина ихъ немолчно звала въ свои зеленыя нѣдра соловьями и кукушками. Уже давно и безслѣдно исчезла дѣвственная, просторная нагота полей — ихъ сплошь покрыли разнообразно богатые всходы хлѣбовъ. И Митя по цѣлымъ днямъ пропадалъ въ этихъ лѣсахъ и поляхъ.

Слишкомъ стыдно стало ему торчать каждое утро

на балконѣ или среди двора въ бесплодномъ ожиданіи приѣзда съ почты старосты или работника. Да и не всегда было время у старосты и у работниковъ ѣздить за восемь верстъ за пустяками. И вотъ онъ сталъ ѣздить на почту самъ. Но и самъ онъ неизмѣнно возвращался домой съ однимъ номеромъ орловской газеты или письмомъ Ани, Кости. И муки его стали достигать уже крайняго предѣла. Поля и лѣса, по которымъ ѣхалъ онъ, такъ подавляли его своей красотой, своимъ счастьемъ, что онъ сталъ чувствовать гдѣ-то въ груди боль даже физическую, которая стояла и не проходила, утверждаясь въ немъ какъ бы навсегда. И порою, въ открытомъ полѣ, онъ останавливалъ лошадь, глядѣлъ въ даль на сѣверъ, — туда, въ Москву, — потомъ падалъ на шею лошади и захлебывался отъ слезъ.

Разъ, передъ вечеромъ, онъ ѣхалъ съ почты черезъ пустую сосѣдскую усадьбу, стоявшую въ большомъ и старомъ паркѣ, который сливался съ окружающимъ его березовымъ лѣсомъ. Онъ ѣхалъ по табельному проспекту, какъ называли мужики главную аллею этой усадьбы. Ее составляли два ряда огромныхъ черныхъ елей. Великолѣпно-мрачная, широкая, вся покрытая толстымъ слоемъ рыжей скользкой хвои, она вела къ старинному дому, стоявшему въ самомъ концѣ ея коридора, почти сходящагося вдали. Красный, сухой и спокойный свѣтъ солнца, опускавшагося слѣва за паркомъ и лѣсомъ, наискось озарялъ между стволами низъ этого коридора, блестѣлъ по его хвойной золотистой настилкѣ. И такая зачарованная тишина царила кругомъ, — только одни соловьи гремѣли изъ конца въ конецъ парка, — такъ сладко пахло и елями, и жасминомъ, кусты котораго отовсюду обступали домъ, и такое великое — чье-то чужое, давнее — счастье почувствовалось Митѣ во всемъ

этомъ и такъ страшно явственно вдругъ представилась ему на огромномъ ветхомъ балконѣ, среди кустовъ жасмина, Катя въ образѣ его молодой жены, что онъ самъ ощутилъ, какъ смертельная блѣдность стягиваетъ его лицо, и твердо сказалъ вслухъ, на всю аллею:

— Если черезъ недѣлю письма не будетъ, — застрѣлюсь!

## XVII

На другой день онъ всталъ очень поздно. Послѣ обѣда онъ сидѣлъ на балконѣ, держалъ на колѣняхъ книгу, глядѣлъ на страницы, покрытыя печатью, и тупо думалъ:

— Ъхать или нѣтъ на почту?

Было совсѣмъ жарко, бѣлая бабочки парами вились другъ за другомъ надъ горячей травой, надъ стеклянно блестящимъ бересклетомъ. Онъ слѣдилъ за бабочками, слушалъ со щеки липнувшихъ мухъ и опять спрашивалъ себя:

— Ъхать или нѣтъ? Ъхать, или разомъ оборвать, послать къ чорту эти постыдныя поѣздки?

Изъ-подъ горы, въ воротахъ, показался верхомъ на жеребцѣ староста. Староста посмотрѣлъ на балконъ и поѣхалъ прямо на него. Подъѣхавъ, онъ остановилъ лошадь и, щурясь, сказалъ:

— Доброга утра. Все читаете?

И усмѣхнулся, оглянулся кругомъ.

— Мамаша спятъ? — спросилъ онъ негромко.

— Думаю, что спить, — отвѣтилъ Митя. — А что? Староста помолчалъ и вдругъ серьезно сказалъ:

— Что-жь, барчукъ, книжка хороша, да на все

время надо знать. Что-жь вы это монахомъ-то живете?  
Ай мало бабъ, дѣвокъ?

Митя не отозвался и опустилъ глаза на книгу.

— Ты гдѣ былъ? — спросилъ онъ, не глядя.

— Былъ на почтѣ, — сказалъ староста. — И, конечно, писемъ никакихъ тамъ нѣту, кромѣ одной газеты.

— Почему-же «конечно»?

— Потому, что, значить, еще пишутъ, не дописали, — отвѣтилъ староста грубо и насмѣшливо, обиженный тѣмъ, что Митя не поддержалъ его разговора. — Пожалуйте получить, — сказалъ онъ, протягивая Митѣ бандерольку, и, тронувъ лошадь, поѣхалъ прочь.

— Застрѣлюсь! — подумалъ Митя твердо, глядя въ книгу и ничего не видя.

Но вмѣстѣ съ тѣмъ у него ломило въ ляжкахъ, какъ бываетъ это, когда съ какой-нибудь страшной высоты глядишь въ пропасть подъ собою. Ясно было, что староста хотѣлъ предложить ему свести его съ кѣмъ-нибудь...

## XVIII

Митя и самъ не могъ не понимать, что нельзя и вообразить себѣ ничего болѣе дикаго, какъ это: застрѣлиться, раздробить себѣ черепъ, сразу оборвать біеніе крѣпкаго молодого сердца, оборвать мысль и чувство, оглохнуть, ослѣпнуть, исчезнуть изъ того несказанно прекраснаго міра, который только теперь впервые весь открылся передъ нимъ, мгновенно и навѣки лишиться всякаго участія въ той самой жизни, гдѣ Катя и наступающее лѣто, гдѣ небо, облака, солнце, теплый вѣтеръ, хлѣба въ поляхъ, села, де-



ревни, дѣвки, мама, усадьба, Аня, Костя, стихи въ старыхъ журналахъ, а гдѣ-то тамъ — Севастополь, Байдарскія ворота, сиреневыя знойныя горы въ сосновыхъ и буковыхъ лѣсахъ, ослѣпительно бѣлое, душное шоссе, сады Ливадіи и Алупки, раскаленный песокъ у сіяющаго моря, загорѣлыя дѣти, загорѣлыя купальщицы — и опять Катя, въ бѣломъ платьѣ, подъ бѣлымъ зонтикомъ, сидящая на галькѣ у самыхъ волнъ, слѣпящихъ своимъ блескомъ, вызывающихъ невольную улыбку безпричиннаго счастья...

Онъ это понималъ, но что-же было ему дѣлать? Какъ и куда вырваться изъ того заколдованнаго круга, гдѣ было тѣмъ мучительнѣе, тѣмъ нестерпимѣе, чѣмъ было лучше? Именно это-то и было непосильно, — то самое счастье, которымъ подавлялъ его міръ и которому недоставало чего-то самаго нужнаго.

Вотъ онъ просыпался утромъ, и первое, что ударило ему въ глаза, было радостное солнце, первое, что онъ слышалъ, былъ радостный, знакомый съ дѣтства трезвонъ деревенской церкви, тамъ, за росистымъ, полнымъ тѣни и блеска, птицъ и цвѣтовъ садомъ; радостны, милы были даже желтенькія обои на стѣнахъ, все тѣ же, что желтѣли и въ его дѣтствѣ. Но тотчасъ же, восторгомъ и ужасомъ, всю душу пронзала мысль: Катя! Утреннее солнце блистало ея молодостью, свѣжесть сада была ея свѣжестью, все то веселое, игривое, что было въ трезвонѣ колоколовъ, тоже играло красотой, изяществомъ ея образа, дѣдовскія обои требовали, чтобы она раздѣлила съ Митей всю ту родную деревенскую старину, ту жизнь, въ которой жили и умирали здѣсь, въ этой усадьбѣ, въ этомъ домѣ, его отцы и дѣды. И Митя отбрасывалъ прочь одѣяло, вскакивалъ съ постели въ одной рубашкѣ, съ раскрытымъ воротомъ, длинноногій, худой, но все-же

крѣпкій, молодой, теплый со сна, быстро выдвигалъ ящикъ письменнаго стола, хваталъ завѣтную фотографическую-карточку и впадалъ почти въ столбнякъ, жадно и вопросительно глядя на нее. Вся прелесть, вся грація, все то неизъяснимое, сіяющее и зовущее, что есть въ дѣвичьемъ, женскомъ, существующемъ въ мірѣ, все было въ этой немного змѣиной головкѣ, въ ея прическѣ, въ ея чуть вызывающемъ и вмѣстѣ съ тѣмъ невинномъ взорѣ! Но загадочно и съ несокрушимымъ веселымъ безмолвіемъ сіялъ этотъ взоръ — и гдѣ было взять силъ перенести его, такой близкій и такой далекій, а теперь, можетъ быть, даже и навѣки чужой, открывшій такое несказанное счастье жить и такъ безстыдно и страшно обманувшій?

Такъ начинался для Мити почти каждый день и въ такомъ же мученіи, все въ однихъ и тѣхъ-же мысляхъ, все въ однихъ и тѣхъ-же душу раздирающихъ, дико противоположныхъ чувствахъ, и протекалъ онъ весь.

Въ тотъ вечеръ, когда онъ ѣхалъ съ почты черезъ Шаховское, черезъ эту старинную пустую усадьбу съ черной еловой аллеей, онъ очень точно выразилъ своимъ неожиданнымъ даже для самого себя восклицаніемъ то крайнее изнеможеніе, котораго онъ достигъ. Стоя подъ окномъ почты, глядя съ сѣдла, какъ почтарь напрасно роется въ кучѣ газетъ и писемъ, онъ услышалъ сзади себя шумъ подходящаго къ станціи поѣзда, и этотъ шумъ и запахъ паровознаго дыма потрясъ его счастьемъ воспоминанія о Курскомъ вокзалѣ и вообще о Москвѣ. Ѣдучи по селу съ почты, въ каждой идущей впереди дѣвкѣ небольшого роста, въ движеніи ея бедеръ онъ съ испугомъ ловилъ что-то Катино. Въ полѣ онъ встрѣтилъ чью-то тройку, — въ тарантасѣ, которую шибко несла она, мелькнули двѣ шляпки,

одна дѣвичья, и онъ чуть не вскрикнулъ: Катя! Бѣлые цвѣты на межѣ мгновенно связывались въ немъ съ мыслью объ ея бѣлыхъ перчаткахъ, синія медвѣжьи ушки — съ цвѣтомъ ея вуали... А когда онъ, при заходящемъ солнцѣ, вѣзжалъ въ Шаховское, сухой и сладкій запахъ елей и роскошный бѣлый запахъ жасмина дали ему такое острое чувство лѣта и чьей-то старинной лѣтней жизни въ этой богатой и прекрасной усадьбѣ, что, взглянувъ на красно-золотой вечерній свѣтъ въ аллеѣ, на домъ, стоявшій въ ея глубинѣ, въ вечерѣющей тѣни, онъ вдругъ увидѣлъ Катю, сходящую, во всемъ расцвѣтѣ женской прелести, съ балкона въ садъ, почти совершенно такъ же явственно, какъ видѣлъ домъ и жасминъ. Уже давно потерялъ онъ жизненное представленіе о ней и уже являлась она ему съ каждымъ днемъ все необычнѣе, все преображеннѣе, — въ этотъ же вечеръ ея преображеніе достигло такой силы, такой торжествующей побѣдности, что Митя ужаснулся еще болѣе, чѣмъ въ тотъ полдень, когда внезапно закуковала надъ нимъ кукушка. И онъ былъ правъ, воскликнувъ, что жить такъ больше нельзя. Да, нужно было письмо, хоть какое нибудь, или полный отказъ отъ него; нуженъ былъ возвратъ къ обыкновенной человѣческой жизни, къ обыкновенной любви или обычному разрыву; но продолженіе того, до чего онъ дошелъ, было уже невозможно, выше силъ.

## XIX

И онъ пересталъ ѣздить на почту, заставилъ себя оборвать эти поѣздки отчаяннымъ, крайнимъ усиліемъ воли. Пересталъ и самъ писать. Вѣдь все уже было испробовано, все написано: и неистовыя увѣренія въ

своей любви, такой, какой еще не бывало на землѣ, и унижительныя мольбы объ ея любви или хотя бы о «дружбѣ», и безсовѣстныя выдумки, что онъ боленъ, что онъ пишетъ, лежа въ постели, — съ цѣлью вызвать къ себѣ хоть жалость, хоть какое нибудь вниманіе, — и даже угрожающіе намеки на то, что ему останется, кажется, одно: избавить Катю и своихъ «болѣе счастливыхъ соперниковъ» отъ своего присутствія на землѣ. И, переставъ писать и домогаться отвѣта, всѣми силами заставляя себя не ждать ничего (а все таки втайнѣ надѣясь, что письмо придетъ именно тогда, когда или обманешь судьбу, очень хорошо прикинувшись равнодушнымъ, или когда въ самомъ дѣлѣ добьешься равнодушія), всячески стараясь не думать о Катѣ, всячески ища спасенія отъ нея, онъ опять сталъ ходить на деревню, сидѣть въ избахъ, читать что подь руку попадется, ѣздить со старостой по хозяйственнымъ дѣламъ въ сосѣднія села и внутренно безъ устали твердить себѣ: все равно, пусть будетъ что будетъ!

И вотъ, однажды возвращались они со старостой съ хутора, ѣхали на бѣгункахъ и, какъ всегда, шибко. Оба сидѣли верхомъ, староста впереди, — онъ правиль, а Митя сзади, и оба подскакивали отъ толчковъ, особенно Митя, который крѣпко держался за подушку и глядѣлъ то въ красный затылокъ старосты, то на прыгающія передъ глазами поля. Подъѣзжая къ дому, староста опустилъ вожжи, поѣхаль шагомъ, сталъ вертѣть сигарку и, ухмыляясь въ развернутый кисеть, сказалъ:

— Вотъ вы тогда, барчукъ, обидѣлись на меня, а понапрасну. Развѣ я не правду вамъ говорилъ? Книжка хороша, отчего и не почитать на гулянкахъ, да въдь она не уйдетъ, на все время надо знать.

Митя вспыхнулъ и неожиданно для самого себя отвѣтилъ съ притворной простотой и неловкой усмѣшкой:

— Да никого что то нѣту на примѣтѣ...

— Какъ такъ? — сказала староста. — Сколько бабъ, дѣвокъ! Это вы, вѣрно, глумитесь надо мной.

— Дѣвки только манять, — отвѣтилъ Митя, стараясь говорить въ тонъ старостѣ. — На дѣвокъ надежда плохая.

— Не манять, а обращенья вы не знаете, — сказалъ староста уже наставительно. — И опять же скупитесь. А сухая ложка ротъ дереть.

«Вполнѣ идиотъ!» — мелькнуло въ головѣ Мити, но онъ еще разъ поддержалъ тонъ:

— Ничего бы я не сталъ скупиться, будь дѣло путное и вѣрное...

— А не станете, все и будетъ въ лучшемъ видѣ, — сказалъ староста, закуривая, и продолжалъ какъ бы нѣсколько обиженно: — Мнѣ не цѣлковый, не подарокъ вашъ дорогъ, а мнѣ хочется удовольствіе вамъ сдѣлать. Гляну, гляну: скучаетъ барчукъ! Нѣтъ, думаю, этого дѣла нельзя такъ оставить. Я своихъ господъ завсегда беру въ расчетъ. Я вотъ у васъ второй годъ живу, а ни отъ васъ, ни отъ барыни, слава Богу, плохого слова еще не слыхалъ. Другимъ, къ примѣру, что барская скотина? Сыта — хорошо, нѣтъ — чортъ съ ней. А у меня этого нѣтъ. Мнѣ скотина дороже всего. Я и ребятамъ говорю: мнѣ, какъ хотите, а что-бы у меня скотина сыта была!

Митя уже сталъ думать, что староста выпивши, но староста вдругъ бросилъ обиженно-задушевный тонъ и сказалъ, вопросительно взглянувъ на Митю черезъ плечо:

— Да вотъ чего лучше Аленка? Бабенка ядовитая,

молоденькая, мужъ на шахтахъ... Только и ей, конечно, надо какойнибудь пустякъ сунуть. Ну, истратите, скажемъ, на все про все пятерку. Цѣлковый, скажемъ, на угощенье, — возьмете тамъ наливочки какойнибудь, подсолнушка, пряничковъ мятныхъ, — два ей на руки... Ну, мнѣ на табачишко скольконибудь...

— За этимъ дѣло не станетъ, — отвѣтилъ Митя, опять противъ собственной воли. — Только про какую Аленку ты говоришь?

— Понятно, про лѣсникову, — сказалъ староста. — Да ай вы ее не знаете? Невѣстка нашего новаго лѣсника. Вы ее, думается, въ прошлое воскресенье въ церкви видѣли... Я тогда прямо же подумалъ: вотъ бы нашему барчуку въ самый разъ! Всего второй годъ замужемъ, ходитъ чисто...

— Ну и что-же, — отвѣтилъ Митя, усмѣхаясь, — ну вотъ и устрой.

— Тогда я, значить, буду стараться, — сказала староста, берясь за вожжи. — Я, значить, на дняхъ попытаю ее. А вы и сами пока не дремите. Завтра она у насъ съ дѣвками валъ въ саду опрaвлять будетъ, вотъ вы и приходите въ садъ... А книжка эта никогда не уйдетъ, авось еще въ Москвѣ начитаетесь...

И тронулъ лошадь, и дрожки опять затряслись и запрыгали. Митя крѣпко держался за подушку и, стараясь не глядѣть на красную толстую шею старосты, смотрѣлъ вдаль, черезъ деревья своего сада и лозины деревни, лежавшей на скатѣ къ рѣкѣ, къ рѣчнымъ лугамъ. Что-то дико неожиданное, нелѣпое и вмѣстѣ съ тѣмъ такое, отчего по всему тѣлу проходило знобящее томленіе, было уже наполовину сдѣлано. И уже какъ-то по-иному, чѣмъ прежде, тор-

чала передъ нимъ изъ-за вершинъ сада и блестяла крестомъ въ предвечернемъ солнцѣ съ дѣтства знакомая колокольня.

## XX

Дѣвки за худобу звали Митю борзымъ, онъ былъ изъ той породы людей съ черными, какъ бы постоянно расширенными глазами, у которыхъ почти не растутъ даже въ зрѣлые годы ни усы, ни борода, — курчавится только нѣчто рѣдкое и жесткое. Однако на другой день послѣ разговора со старостой онъ съ утра побрился и надѣлъ желтую шелковую рубашку, странно и красиво освѣтившую его изможденное и какъ бы вдохновенное лицо.

Въ одиннадцатомъ часу онъ медленно, стараясь придать себѣ немного скупающей, отъ нечего дѣлать гуляющей видъ, пошелъ въ садъ.

Вышелъ онъ съ главнаго крыльца, обращеннаго на сѣверъ. На сѣверѣ, надъ крышами каретнаго сарая и скотнаго двора и надъ той частью сада, изъ-за которой всегда глядѣла колокольня, стояла аспидная муть. Да и все было тускло, въ воздухѣ парило и пахло изъ трубы людской. Митя повернулъ за домъ и направился къ липовой аллеѣ, глядя на вершины сада и на небо. Изъ подъ неопредѣленныхъ тучъ, заходящихъ за садомъ, съ юго-востока, дуло слабымъ горячимъ вѣтромъ. Птицы не лѣли и даже соловьи молчали. Однѣ пчелы во множествѣ беззвучно неслись черезъ садъ со взятки.

Дѣвки, поправляя валь, работали опять возлѣ ельника, задѣлывали въ валу выбоины, протоптанные скотиной лазы, заваливали ихъ землей и парнымъ, пріятно-вонючимъ навозомъ, который работники отъ

времени до времени подвозили со скотнаго двора через аллею, — аллея вся была усѣяна влажными и блестящими шмотами. Дѣвокъ было штукъ шесть. Соньки уже не было, — ее таки просватали и теперь она сидѣла дома, кое-что готовя къ свадьбѣ. Было нѣсколько совсѣмъ еще жиденскихъ дѣвчонокъ, старавшихся однако держаться взрослыми и на все готовыми, была толстая, миловидная Анютка, была Глашка, ставшая какъ будто еще суровѣе и мужественнѣе, — и Аленка. И Митя сразу увидѣлъ ее среди деревьевъ, сразу понялъ, что это она, хотя прежде никогда не видалъ ее, и его, какъ молнія, поразило нежданно и рѣзко ударившее ему въ глаза что-то общее, что было, — или только почудилось ему, — въ Аленкѣ съ Катей. Это было такъ удивительно, что онъ даже приостановился, на мигъ оторопѣлъ. Потомъ рѣшительно пошелъ прямо на нее, не спуская съ нея глазъ.

Она была тоже не велика, подвижна. Несмотря на то, что она пришла на грязную работу, она была въ хорошенькой (бѣлой съ красными крапинками) ситцевой кофтѣ, подпоясанной чернымъ лакированнымъ поясомъ, въ такой же юбкѣ, въ розовомъ шелковомъ платочкѣ, въ красныхъ шерстяныхъ чулкахъ и въ черныхъ мягкихъ чуняхъ, въ которыхъ (или, вѣрнѣе, во всей ея маленькой легкой ногѣ) было опять таки что-то Катино, то есть женское прежде всего, но смѣшанное съ чѣмъ-то дѣтскимъ. И головка у нея была невелика и темные глаза стояли и сіяли почти такъ же, какъ у Кати. Когда Митя подходилъ, она одна не работала, какъ бы чувствуя свою нѣкую особенность среди прочихъ, стояла на валу, поставивъ правую ногу на вилы и разговаривая со старостой. Староста, облокотясь, лежалъ подъ яблоней на своемъ



пиджакъ съ рваной подкладкой и куриль. Митя подошелъ — онъ вѣжливо подвинулся на траву, давая ему мѣсто на пиджакъ.

— Садитесь, Митрій Палычъ, закуряйте, — сказалъ онъ дружески и небрежно.

Митя бѣгло, исподтишка глянулъ на Аленку, — очень хорошо освѣщаль ея лицо ея розовый платочекъ, — сѣлъ и, опустивъ глаза, сталъ закуривать (онъ много разъ за зиму и весну бросаль курить, теперь опять закурилъ). Аленка даже не поклонилась ему, какъ будто и не замѣтила его. Староста продолжалъ говорить ей что-то, чего Митя не понималь, не зная начала разговора. Она смѣялась, но какъ-то такъ, точно ни умъ, ни сердце ея не участвовали въ этомъ смѣхѣ. Въ каждую фразу староста пренебрежительно и насмѣшливо, своимъ грубымъ голосомъ, вставляль похабные намеки. Она отвѣчала ему легко и тоже насмѣшливо, давая ему понять, что онъ въ какихъ-то своихъ намѣреніяхъ на кого-то вель себя глупо, черезчуръ нахрапомъ, а вмѣстѣ съ тѣмъ и трусливо, боясь жены.

— Ну, да тебя не перебрешешь, — сказалъ наконецъ староста, прекращая споръ, яко бы въ виду его надоѣвшей бесполезности. — Кабы я не женатый-то былъ, давно бы я тебѣ, дѣвка, перья обломаль въ лучшемъ видѣ! Авось еще не такихъ стригунковъ объѣзжали! Ты лучше иди посиди съ нами. Баринъ тебѣ хочуть слово сказать.

Аленка повела глазомъ куда-то въ сторону, подоткнула на височкахъ темныя колечки волосъ и не двинулась съ мѣста.

— Иди, говорю, дура! — сказалъ староста.

И, подумавъ мгновенье, Аленка вдругъ легко соскочила съ вала, подбѣжала и на короточкахъ при-

сѣла въ двухъ шагахъ отъ лежавшаго на пиджакѣ Мити, весело и любопытно смотря въ лицо ему темными расширенными глазами. Потомъ засмѣялась и спросила:

— А правда, вы, барчукъ, съ бабами не живете? Какъ дьячокъ какой?

Митя, весь красный, съ неловкой, болѣзненной улыбкой, глядѣлъ на ея подолъ, на ея разставленныя колѣнки, и молчалъ, перекусывая травяной стебель.

— А ты почему знаешь, что не живутъ? — спросилъ староста.

— Да ужъ знаю, — сказала Аленка. — Слышала. Нѣтъ, они не могутъ. У нихъ въ Москвѣ есть, — вдругъ заигравъ глазами, сказала она.

— Подходящихъ для нихъ нѣту, вотъ и не живутъ. — отвѣтилъ староста. — Много ты понимаешь въ ихъ дѣлѣ!

— Какъ нѣту? — сказала Аленка, смѣясь. — Сколько бабъ, дѣвокъ! Вонъ Анютка, — чего лучше? Анюткѣ, поди сюда, дѣло есть! — крикнула она звонко.

Анютка, широкая и мягкая въ спинѣ, коротко-рукая, обернулась, — лицо у нея было очень мило-видное, улыбка очень добрая и пріятная, — что-то крикнула въ отвѣтъ пѣвучимъ голосомъ и заработала еще пуще.

— Говорятъ тебѣ, поди! — еще звончѣй повторила Аленка.

— Нечего мнѣ ходить, не заучена я этимъ дѣламъ. — пропѣла Анютка радостно. — Ихъ всего капиталу на меня не хватитъ.

— Намъ Анютка не нужна, намъ надо почище, поблагороднѣе, — наставительно сказалъ староста. — Мы сами знаемъ, кого намъ надо.

И очень выразительно посмотрѣлъ на Аленку. Она слегка смутилась, чуть-чуть покраснѣла.

— Нѣтъ, нѣтъ, нѣтъ, — отвѣтила она, скрывая смущеніе улыбкой, — лучше Анютки не найдете. А не хотите Анютку, — Настьку, она тоже чисто ходитъ, въ городѣ жила...

— Ну будетъ, молчи, — неожиданно грубо сказала староста. — Занимайся своимъ дѣломъ, побрехала и будетъ. Меня и такъ барыня ругаютъ, говорятъ, онѣ у тебя только ахальничаютъ...

Аленка вскочила — и опять съ необыкновенной легкостью — и взялась за вилы. Но работникъ, свалившій въ это время послѣднюю телѣгу навоза, крикнулъ: «завтракать!» — и, задержавъ вожжами, бойко загремѣлъ внизъ по аллеѣ пустымъ телѣжнымъ ящикомъ.

— Завтракать, завтракать! — на разные голоса закричали и дѣвки, бросая лопаты и вилы, перескакивая черезъ валъ, соскакивая съ него, мелькая голыми ногами и разноцвѣтными чулками и сбѣгаясь подъ ельникъ къ своимъ узелкамъ.

Староста покосился на Митю, подмигнувъ ему, желая сказать, что дѣло идетъ, и, приподнимаясь, начальственно согласился:

— Ну, завтракать, такъ завтракать...

Дѣвки, пестрѣя подъ темной стѣной елокъ, весело и какъ попало разсѣлись на травѣ, стали развязывать узелки, вынимать лепешки и раскладывать ихъ на подолы между прямо лежащихъ ногъ, стали жевать, запивая изъ бутылокъ кто молокомъ, кто квасомъ и продолжая громко и беспорядочно говорить, хохоча каждому слову и поминутно взглядывая на Митю любопытными и вызывающими глазами. Аленка, наклонясь къ Анюткѣ, что-то сказала ей на ухо. Анютка, не сдержавъ очаровательной улыбки, съ страшной силой оттолкнула ее (Аленка, давась смѣхомъ, пова-

лилась головой къ себѣ на колѣни) и съ притворнымъ возмущеніемъ крикнула на весь ельникъ своимъ пѣвчимъ голосомъ:

— Дура! Чего гогочешь безъ дѣла? Какая радость?

— Пойдемте отъ грѣха, Митрій Палычъ, — сказала староста, — ишь, ихъ черти разбираютъ!

— Барчукъ! — закричала Аленка въ догонку Митѣ: — не выйдетъ съ Анюткой ваша синпатія! Вы какъ дьячокъ, а у ней какъ у пятилѣточки!

## XXI

На дворѣ сально и чадно пахло изъ трубы людской, въ людской обѣдали, собаки, виляя хвостами, искательно и подобострастно стояли подъ ея окнами. Деревня на томъ боку, за лугами, за рѣчкой, скучно сѣрѣла. Все было какъ-то особенно буднично, — бывають такіе особенно будничные дни. Въ воздухѣ было все также тускло, въ небѣ все тѣ-же неопредѣленныя облака и тучки, съ юга все также слабо и горячо дуло.

Войдя въ домъ, Митя прошелъ къ себѣ и легъ лицомъ въ подушку. Онъ зналъ, онъ представлялъ себѣ: позавтракавъ, дѣвки тотчасъ улягутся спать въ теплой духотѣ подъ елками, завернувъ подола и закрывшись ими съ головой, поджавъ босыя и въ чунькахъ ноги... Ляжетъ и Аленка... При мысли о возможности обладанія ею, — а теперь эта возможность уже вполне опредѣлилась, была несомнѣнна, — у него прерывисто замирало сердце.

— Что-же это такое? Что-же это такое? — спрашивалъ онъ себя. — Неужели я уже влюбился въ

нее? А Катя? Какой вздоръ, будто она похожа на Катю!

Катя была сама по себѣ, совсѣмъ въ другомъ, небудничномъ мірѣ, и все таки къ горлу подступали слезы острой нѣжности и жалости къ ней. Онъ поднялъ голову. Вѣтеръ за окномъ мягко волновалъ густую и еще мягкую, нѣжную зелень сада, его вершинъ, вѣтви медленно мотались, клонились, и въ нихъ еще были остатки весны, Кати... Онъ вскочилъ, сѣлъ, желтая рубаха, испугъ и изумленіе озарили его блѣдное лицо:

— Нѣтъ, пошлю телеграмму, поѣду въ Москву! — изступленно мелькнуло у него въ головѣ. — Вдругъ все это вздоръ? Вдругъ просто пропало письмо, просто она чѣмъ-нибудь захворала, простудилась, лежала нѣсколько дней въ постели? Да мало-ли, мало-ли что!

Но тутъ неслышно, босыми ногами вошла Параша, подала ему газету и открытку, сказала «кушать пожалуйста» и вышла.

Открытка была отъ Протасова:

«Дорогой мой Рыцарь Печальнаго Образа, прости за свинское молчаніе въ отвѣтъ на всѣ твои письма, причина сего, увы, крайне проста: зубрежка и полное отсутствіе новостей, достойныхъ твоего просвѣщеннаго вниманія... К. нѣсколько разъ видѣлъ, — она въ настроеніи что-то довольно кисломъ. На-дняхъ, передъ отбытіемъ къ роднымъ пенатамъ, напишу пространнѣе...»

Митя, стиснувъ зубы и сразу зло повеселѣвъ, бросилъ открытку на письменный столъ и рѣшительными шагами пошелъ обѣдать.

На другой день въ саду не работали, былъ праздникъ, воскресенье.

Ночью лилъ дождь, мокро шумѣло по крышѣ, садъ то и дѣло блѣдно, но широко, сказочно озарялся. Къ утру однако погода опять разгулялась, опять все стало просто и благополучно, и Митю разбудилъ веселый, солнечный трезвонъ колоколовъ.

Онъ не спѣша умылся, одѣлся, выпилъ стаканъ чаю и пошелъ къ обѣднѣ. «Мама ужъ ушли, ласково упрекнула его Параша, а вы какъ татаринъ какой...»

Въ церковь можно было пройти или по выгону, выйдя изъ воротъ усадьбы и свернувъ направо, или черезъ садъ, по главной аллеѣ, а потомъ по дорогѣ между садомъ и гумномъ, налѣво. Митя пошелъ черезъ садъ.

Все было уже совсѣмъ по лѣтнему. Митя шель по аллеѣ прямо на солнце, сухо блестящее на гумнѣ и въ полѣ. И этотъ блескъ и трезвонъ колоколовъ, какъ-то очень хорошо и мирно сливавшійся съ нимъ и вообще со всѣмъ этимъ деревенскимъ утромъ, и то, что Митя только что вымылся, причесалъ свои мокрые, глянцевитые черные волосы и надѣлъ студенческой картузь, — все вдругъ показалось такъ хорошо, что Митю, опять не спавшаго всю ночь и опять прошедшаго ночью черезъ множество самыхъ разнородныхъ мыслей и чувствъ, вдругъ охватила надежда на какое-то счастливое разрѣшеніе всѣхъ его терзаній, на спасеніе, освобожденіе отъ нихъ. Колокола играли и звали, гумно впереди жарко блестяло, дятель, приостанавливаясь, приподнимая хохолокъ, быстро бѣжалъ вверхъ по корявому стволу липы въ ея свѣтло-зеленую, солнечную вершину, бархатные черно-красные шмели

заботливо зарывались въ цвѣты на полянахъ, на припекѣ, птицы заливались по всему саду сладко и беззаботно... Все было, какъ бывало много, много разъ въ дѣтствѣ, въ отрочествѣ, и такъ живо вспомнилось все прелестное, беззаботное прежнее время, что вдругъ явилась увѣренность, что Богъ милостивъ, что, можетъ быть, можно прожить на свѣтѣ и безъ Кати. И Митя представилъ себѣ, какъ онъ, молодой барчукъ, возбуждая всеобщее вниманіе, черезъ минуту поднимется съ обнаженной головой на прохладную паперть, а потомъ вступитъ въ жаркую, тѣсную, по лѣтнему солнечную церковь, въ толпу разряженныхъ бабъ и дѣвокъ, пахнущихъ новымъ ситцемъ, увидитъ дрожащія въ густомъ воздухѣ золотыя точки свѣчей, услышитъ, какъ весело и въ разноразной деруть на клиросѣ...

— Въ самомъ дѣлѣ, поѣду къ Мещерскимъ, — подумалъ онъ, представивъ себѣ, что у церковной ограды, можетъ быть, стоитъ сейчасъ и погромыживаетъ бубенцами чья-нибудь тройка въ праздничной сбруѣ, съ кучеромъ въ безрукавномъ плисовомъ кафтанѣ и въ шляпѣ съ перьями.

Онъ даже съ какимъ-то особымъ, жениховскимъ чувствомъ подумалъ о старшей изъ Мещерскихъ барышень... У нея къ нему давно что-то есть... Всегда она въ обращеніи съ нимъ какъ-то нетороплива, благосклонно-насмѣшлива, всегда имѣетъ такой видъ, точно она — только она одна — что-то знаетъ за нимъ... И считается красавицей, высока величава... Великолѣпная коса и великолѣпная женственность въ большихъ стройныхъ бедрахъ, въ стройно и прямо падающихъ линіяхъ юбки...

Но тутъ Митя поднялъ глаза — и въ двадцати шагахъ отъ себя увидалъ какъ разъ въ этотъ моментъ

проходившую мимо воротъ Аленку. Она опять была въ шелковомъ розовомъ платочкѣ, въ голубомъ нарядномъ платьѣ съ оборками, въ новыхъ башмакахъ съ подковками. Она, виляя задомъ, быстро шла, не видя его, и онъ порывисто подался въ сторону, за деревья.

Давъ ей скрыться, онъ, съ бьющимся сердцемъ, поспѣшно пошелъ назадъ, къ дому. Онъ вдругъ понялъ и то, что пошелъ въ церковь съ тайной цѣлью увидѣть ее, и то, что видѣть ее въ церкви нельзя, не надо.

### XXIII

Во время обѣда нарочный со станціи привезъ телеграмму — Аня и Костя извѣщали, что будутъ завтра, вечеромъ. Митя отнесся къ этому совершенно равнодушно.

Послѣ обѣда онъ навзничъ лежалъ на плетеномъ диванѣ на балконѣ, закрывъ глаза, чувствуя доходящее до балкона жаркое солнце, слушая лѣтнее жужжанье мухъ. Сердце дрожало, въ головѣ стоялъ неразрѣшимый вопросъ: а какъ же дальше дѣло съ Аленкой? Когда же оно рѣшится окончательно? Почему староста не спросилъ ее вчера прямо: согласна ли она и, если да, то гдѣ и когда? А рядомъ съ этимъ мучилъ другой вопросъ: слѣдуетъ или нѣтъ нарушить свое твердое рѣшеніе не ѣздить больше на почту? Не съѣздить-ли нынче еще разъ, послѣдній? Новое и бессмысленное издѣвательство надъ своимъ собственнымъ самолюбіемъ? Новое и бессмысленное терзаніе себя жалкой надеждой? Но что можетъ теперь прибавить эта поѣздка (въ сущности, простая прогулка) къ его терзаніямъ? Развѣ теперь не совершенно



очевидно, что тамъ, въ Москвѣ, для него все и на-вѣки кончено? Чтб ему вообще теперь терять? Ему сроку осталось недѣля! Сумѣеть онъ за эту недѣлю спасти себя тѣмъ или инымъ способомъ (силой воли или хотя бы вотъ этой Аленкой) — хорошо, нѣтъ — такъ тому и быть...

— Барчукъ! — раздался вдругъ негромкій голосъ возлѣ балкона. — Барчукъ, вы спите?

Онъ быстро открылъ глаза. Передъ нимъ стоялъ староста въ новой ситцевой рубахѣ, въ новомъ картузѣ. Лицо у него было праздничное, сытое и слегка сонное, хмѣльное.

— Барчукъ, ѣдьте скорѣй въ лѣсъ, — зашепталь онъ. — Я барынѣ сказаль, что мнѣ нужно повидаться съ Трифономъ на счетъ пчель. Ёдьте скорѣй, пока онѣ почиваютъ, а то ну-ка проснутся и отдумаютъ... Захватимъ чего-нибудь угостить Трифона, онъ захмѣлѣеть, вы его заговорите, а я исхитрюсь шепнуть словечко Аленкѣ. Что-жъ въ самомъ дѣлѣ тянуть: такъ, такъ такъ, а не такъ — къ чертямъ, и получше найдемъ. Выходите скорѣй, я ужъ запрегъ...

Митя вскочилъ, пробѣжалъ лакейскую, схватилъ картузь и быстро пошелъ къ каретному сараю, гдѣ стоялъ запряженный въ бѣговья дрожки молодой горячій жеребчикъ.

## XXIV

Жеребчикъ взялъ прямо-же съ мѣста и вихремъ вынесъ за ворота. Противъ церкви на минуту остановились возлѣ лавки, взяли фунтъ сала и бутылку водки и понеслись дальше.

Мелькнула изба на выѣздѣ, у которой стояла

наряженная и не знавшая, что дѣлать, Анютка. Староста въ шутку, но грубо крикнулъ ей что-то и съ хмѣльнымъ, бессмысленнымъ и злымъ удалствомъ крѣпко передернулъ вожжами, хлестнулъ ими по крупу жеребчика. Жеребчикъ еще надалъ.

Митя, сидя и подскакивая, держался изо всѣхъ силъ. Въ затылокъ ему пріятно пекло, въ лицо тепло дуло полевымъ жаромъ, пахнувшимъ уже зацвѣтающей рожью, дорожной пылью, колесной мазью. Рожь ходила, отливала серебристо-сѣрой, точно какой-то чудесный мѣхъ, зыбью, надъ ней поминутно взвивались, пѣли, косо неслись и падали жаворонки, далеко впереди мягко синѣлъ лѣсъ...

Черезъ четверть часа были уже въ лѣсу и все также шибко, стучаясь о пни и корни, помчались по его тѣнистой дорогѣ, радостной отъ солнечныхъ пятенъ и несмѣтныхъ цвѣтовъ въ густой и высокой травѣ по сторонамъ. Аленка, въ своемъ голубомъ платьѣ, прямо и ровно положивъ ноги въ полусапожкахъ, сидѣла въ распускающихся возлѣ караулки дубкахъ и вышивала что-то. Староста пролетѣлъ мимо нея, погрозивъ ей кнутомъ, и сразу осадилъ у порога. Митю поразилъ горькій и свѣжій ароматъ лѣса, молодой дубовой листвы, оглушилъ звонкій лай собаченокъ, окружившихъ дрожки и наполнившихъ весь лѣсъ откликами. Онѣ стояли и яростно заливались на всѣ лады, а мохнатые морды ихъ были добры и хвосты виляли.

Слѣзли, привязали жеребчика къ сухому, опаленному грозой деревцу подъ окнами и не слѣша вошли черезъ темныя сѣни.

Въ караулкѣ было очень чисто, очень уютно и очень тѣсно, жарко и отъ солнца, свѣтившаго изъ-за лѣса въ оба ея окошечка, и оттого, что была натоплена

печь, — утромъ пекли ситники. Ѳедосья, свекровь Аленки, зубастая, но чистенькая и благообразная на видъ старушка, сидѣла за столомъ, спиной къ солнечному, усыпанному мелкими мушками окошечку, поставивъ локоть правой руки въ ладонь лѣвой, а въ правую ладонь положивъ щеку. Увидавъ барчука, она встала и низко поклонилась. Поздоровавшись, сѣли и стали закуривать.

— А гдѣ-жь Трифонъ? — спросилъ староста.

— Отдыхаетъ въ клѣти, — сказала Ѳедосья: — я сейчасъ пойду его покличу.

— Идетъ дѣло! — шепнулъ староста, моргнувъ обоими глазами, какъ только она вышла.

Но никакого дѣла Митя покуда не видѣлъ. Покуда было только нестерпимо неловко, — казалось, что Ѳедосья уже отлично понимаетъ, зачѣмъ они пріѣхали, — и вообще тяжело и тревожно. Опять мелькала ужасавшая уже третій день мысль: «Что я дѣлаю? Я съ ума схожу!» Онъ чувствовалъ себя лунатикомъ, покореннымъ чьей-то посторонней волей, все быстрѣе и быстрѣе идущимъ къ какой-то роковой, но неотразимо влекущей пропасти, или же человѣкомъ, отчаянно согласившимся на какую-то будто бы совершенно необходимую, будто бы единственно спасительную, страшную операцію. Но, стараясь имѣть простой и спокойный видъ, онъ сидѣлъ, курилъ, осматривалъ караулку... Особенно стыдно было при мысли, что сейчасъ войдетъ Трифонъ, мужикъ, какъ говорятъ, злой, умный, который сразу все пойметъ еще лучше Ѳедосьи. Но вмѣстѣ съ тѣмъ была и другая мысль: «А гдѣ-же она спитъ? Вотъ на этихъ нарахъ или въ клѣти?» Конечно, въ клѣти, подумалъ онъ. Лѣтняя ночь въ лѣсу, окошечки въ клѣти безъ рамы, безъ стеколъ, и всю ночь слышенъ дремотный лѣсной

шопоть, а она спить одна, совсѣмъ одна... «О, Катя, Катя! О, что ты дѣлаешь!» — безъ словъ подумаль онъ съ ужасомъ.

## XXV

Федосья черезъ минуту вернулась, сказала, что Трифонъ идетъ, и тотчасъ же обратилась къ старостѣ:

— А хорошъ ты, сударь, — какія плетушки плетешь про нашу Алену на селѣ!

Староста сдѣлалъ изумленные глаза, сталъ оправдываться. И загорѣлся безтолковый, непонятный для Мити разговоръ. Изъ словъ Федосьи можно было уловить только нѣчто похожее на то, что староста будто бы предлагалъ какому-то конторщику «подвести» ему Аленку и самъ же разбрехалъ объ этомъ на селѣ, и даже больше того, распустилъ слухъ, что она уже живетъ съ конторщикомъ. Вдругъ послышались шаги за дверью — и Федосья и староста мгновенно смолкли.

Трифонъ вошелъ и тоже низко поклонился Митѣ, но молча, не взглянувъ ему въ глаза. Потомъ сѣлъ на скамейку передъ столомъ и сухо и неприязненно заговорилъ со старостой: въ чемъ дѣло, зачѣмъ пожаловалъ? Староста поспѣшилъ сказать, что его прислала барыня, что она проситъ Трифона придти посмотреть пасѣку, что ихній пасѣчникъ старый, глухой дуракъ, а что онъ, Трифонъ, можетъ, первый пчеловодъ во всей губерніи по своему уму и понятію, — и немедля вытащилъ изъ одного кармана штановъ бутылку водки, а изъ другого сало въ шершавой сѣрой бумагѣ, уже насквозь промаслившейся. Трифонъ холодно и насмѣшливо покосился, однако поднялся съ мѣста и досталъ съ полки чайную чашку.

Староста поднесъ сперва Митѣ, потомъ Трифону, потомъ Федосьѣ, — она съ удовольствіемъ вытянула чашку до доньшка, — и наконецъ налилъ себѣ. Выпивъ, онъ тотчасъ же сталъ обносить по второй, жуя ситникъ и раздувая ноздри.

Трифонъ довольно быстро захмѣлѣлъ, однако не потерялъ своей сухости и непріязненной насмѣшливости. Староста тяжело отупѣлъ послѣ второй же чашки. Разговоръ принялъ по внѣшности характеръ дружескій, но глаза у обоихъ были недовѣрчивые, злобные. Федосья сидѣла молча, смотрѣла вѣжливо, но недовольно. Аленка не показывалась. Потерявъ всякую надежду, что она придетъ, ясно видя, что это совершенно дурацкая мечта — рассчитывать теперь на то, что старостѣ удастся шепнуть ей «словечко», если бы она даже и пришла, вполнѣ вообще убѣдившись, что поѣздка пропала даромъ, принесла только позоръ, отвратительныя мученія, — староста просто напился и напоилъ съ какими-то своими цѣлями Трифона на его, Митинъ, счетъ, — Митя поднялся и строго сказалъ, что пора ѣхать.

— Сейчасъ, сейчасъ, успѣется! — хмуро и нагло отозвался староста. — Мнѣ еще надо вамъ словечко по секрету сказать.

— Ну вотъ дорогой и скажешь, — сказалъ сдержанно, но еще строже Митя. — Ыдемъ.

Но староста хлопнулъ ладонью по столу и съ пьяной загадочностью повторилъ:

— А я вамъ говорю, что дорогой этого нельзя говорить! Выйдите ко мнѣ на минутку...

И тяжело поднявшись съ мѣста, распахнулъ дверь въ сѣнцы.

Митя вышелъ за нимъ.

— Ну въ чемъ дѣло?

— Молчите! — прошептала староста, притворяя за Митей дверь, шатаясь, сонно глядя на него и дыша водкой.

— Объ чемъ молчать?

— Молчите!

— Я тебя не понимаю.

— Молчите! Наша будетъ! Вѣрное слово!

Митя оттолкнулъ его, вышелъ изъ сѣней и остановился на порогѣ, не зная, что дѣлать: подождать еще немного или уѣхать одному, а не то просто уйти пѣшкомъ?

Въ десяти шагахъ отъ него стоялъ густой зеленый лѣсъ, уже въ вечерней тѣни и оттого еще болѣе свѣжій, чистый и прекрасный. Чистое, погожее солнце заходило за его вершины, сквозь нихъ лучисто сыпалось его червонное золото. И вдругъ гулко раздался и прокатился въ глубинѣ лѣса, гдѣ-то, какъ показалось, далеко на той сторонѣ, за оврагами, женскій пѣвучій голосъ, и такъ призывно, такъ очаровательно, какъ звучитъ онъ только въ лѣсу, по лѣтней вечерней зарѣ.

— Ау! — протяжно крикнулъ этотъ голосъ, видимо, забавляясь лѣсными откликами. — Ау!

Митя соскочилъ съ порога и побѣжалъ по цвѣтамъ и травамъ въ лѣсъ. Лѣсъ спускался въ каменистый оврагъ. Въ оврагѣ стояла и ѣла баранчики Аленка. Митя надбѣжалъ надъ обрывъ и остановился. Она снизу глядѣла на него удивленными глазами.

— Что ты тутъ дѣлаешь? — спросилъ Митя негромко, задохнувшись отъ сердцебиенія.

— Маруську нашу съ коровой ищу. А что? — отвѣтила она тоже негромко.

— Что жъ, придешь, что-ли?

— Что-жь мнѣ даромъ ходить? — сказала она. — На поденщину, и то за деньги ходять.

— Кто-жь тебѣ сказалъ, что даромъ? — спросилъ Митя уже почти шепотомъ. — Объ этомъ не безпокойся.

— А когда? — спросила Аленка.

— Да завтра... Ты когда можешь?

Аленка подумала.

— Я завтра пойду къ матери овцу стричь, — сказала она, помолчавъ, осторожно оглядывая лѣсъ на бугрѣ за Митей. — Вечеромъ, какъ стемнѣтъ, и приду. А куда? На гумно нельзя, зайдетъ кто-нибудь... Хотите, въ салашъ въ лошинѣ у васъ въ саду? Только вы смотрите, не обманите, — даромъ я не согласна... Это вамъ не Москва, — сказала она, засмѣявшимися глазами глядя на него снизу: — тамъ, говорятъ, бабы сами платять...

## XXVI

Возвращались безобразно.

Трифонъ не остался въ долгу, поставилъ и съ своей стороны бутылку, и староста такъ напился, что не сразу сълъ на дрожки, сперва упалъ на нихъ, а испуганный жеребчикъ рванулся и чуть не ускакалъ одинъ. Но Митя молчалъ, смотрѣлъ на старосту безчувственно, ждалъ, пока онъ усядется, терпѣливо. Староста опять гналъ съ нелѣпой яростью. Митя молчалъ, крѣпко держался, смотрѣлъ на вечернее небо, на поля, быстро дрожавшія и прыгавшія передъ нимъ. Надъ полями къ закату допѣвали свои кроткія пѣсни жаворонки, на востокъ, уже посинѣвшемъ къ ночи, вспыхивали тѣ дальнія, мирныя зарницы, которыя ничего не обѣщаютъ, кромѣ хорошей погоды.

Митя понималъ всю эту вечернюю прелесть, но теперь она была совсѣмъ чужой ему. Въ мысляхъ, въ душѣ стояло одно: завтра вечеромъ!

Дома его ожидало извѣстіе, что получено письмо, подтверждающее, что Аня и Костя будутъ завтра, съ вечернимъ поѣздомъ. Онъ ужаснулся, — пріѣдутъ, побѣгутъ вечеромъ въ садъ, могутъ побѣжать къ шалашу, въ лощину... Но тотчасъ же вспомнилъ, что со станціи ихъ привезутъ не раньше десятаго часа, потомъ будутъ кормить, поить чаемъ...

— Ты поѣдешь встрѣчать? — спросила Ольга Петровна.

Онъ почувствовалъ, что блѣднѣетъ.

— Нѣтъ, не думаю... Мнѣ что-то не хочется... Да и сѣсть негдѣ...

— Ну, положимъ, ты бы могъ верхомъ поѣхать...

— Да нѣтъ, не знаю... Собственно, зачѣмъ? Сейчасъ по крайней мѣрѣ не хочется...

Ольга Петровна пристально посмотрѣла на него.

— Ты здоровъ?

— Совершенно, — сказалъ Митя почти грубо. — Я только спать очень хочу...

И тотчасъ же ушелъ къ себѣ, легъ въ темнотѣ на диванъ и заснулъ, не раздѣваясь.

Ночью онъ услыхалъ отдаленную, медлительную музыку и увидалъ себя висящимъ надъ огромной, слабо освѣщенной пропастью. Она все свѣтлѣла и свѣтлѣла, становилась все бездоннѣе, все золотистѣй, все ярче, все многолюднѣе, радостнѣй — и уже совсѣмъ отчетливо, съ несказанной грустью и нѣжностью, зазвучало и запѣло въ ней: «Жиль, былъ въ Оулѣ добрый король»... Онъ затрепеталъ отъ умиленія, повернулся на другой бокъ и опять заснулъ.



День казался безконечнымъ.

Митя какъ деревянный выходилъ къ чаю, къ обѣду, потомъ опять шель къ себѣ и опять ложился, бралъ съ письменнаго стола уже давно валявшійся на немъ томъ Писемскаго, читалъ, не понимая ни слова, подолгу смотрѣлъ въ потолокъ, слушалъ ровный, лѣтній, атласный шумъ солнечнаго сада за окномъ... Разъ онъ всталъ и пошелъ въ библіотеку, чтобы перемѣнить книгу. Но эта прелестная своей стариной, своимъ спокойствіемъ, видомъ изъ одного окна на завѣтный клень, а изъ другихъ на свѣтлое западное небо комната такъ остро напомнила ему тѣ весенніе (теперь ужъ безконечно далекіе) дни, когда онъ сидѣлъ въ ней, читая стихи въ старыхъ журналахъ, и показалась такой Катиной, что онъ повернулся и быстро пошелъ назадъ. «Къ чорту! — подумалъ онъ съ раздраженіемъ. — Византійскіе глаза, Рыцарь Печальнаго Образа! Къ чорту весь этотъ поэтическій трагизмъ любви!»

Онъ съ возмущеніемъ вспомнилъ свое намѣреніе застрѣлиться, если не будетъ письма отъ Кати, и опять легъ и опять взялся за Писемскаго. Но по прежнему онъ ничего не понималъ, читая, а порою, глядя въ книгу и думая объ Аленкѣ, представляя себѣ ея тѣло, весь начиналъ дрожать отъ все растущей дрожи въ животѣ. И чѣмъ ближе подходилъ вечеръ, тѣмъ все чаще охватывала, била дрожь. Голоса и шаги по дому, голоса на дворѣ, — уже запрягали тарантасъ на станцію, — все раздавалось такъ, какъ во время болѣзни, когда лежишь одинъ, а вокругъ течетъ обычная будничная жизнь, равнодушная къ тебѣ и потому чуждая, даже враждебная. Наконецъ гдѣ-то крикнула Параша: «Барыня, лошади готовы!»

— послышалось сухое бормотаніе бубенчиковъ, потомъ топотъ копытъ, шорохъ подкатывающего къ крыльцу тарантаса... «Ахъ, да когда же все это кончится!» — пробормоталъ Митя внѣ себя отъ нетерпѣнія, не двигаясь, но жадно слушая голосъ Ольги Петровны, отдававшей въ лакейской послѣднія приказанія. Вдругъ бубенчики опять забормотали и, бормоча все слитнѣе подъ звуки покотившагося подъ гору экипажа, стали глохнуть...

Быстро вставъ съ мѣста, Митя вышелъ въ залъ. Въ залѣ было пусто и свѣтло отъ яснаго желтоватаго заката. Во всемъ домѣ было пусто и какъ-то странно пусто! Со страннымъ, какъ-бы прощальнымъ чувствомъ Митя взглянулъ въ пролетъ растворенныхъ молчаливыхъ комнатъ—въ гостиную, въ диванную, въ библиотеку, въ окно которой по вечернему синѣлъ южный небосклонъ, зеленѣла живописная вершина клена и розовой точкой стоялъ надъ ней Антаресь... Потомъ заглянулъ въ лакейскую, нѣтъ ли тамъ Параша. Убѣдившись, что и тамъ пусто, онъ схватилъ съ вѣшалки картузь, пробѣжалъ назадъ, въ свою комнату, и выскочилъ въ окно, далеко выкинувъ на цвѣтникъ свои длинныя ноги. На цвѣтникѣ онъ на мгновение замеръ, потомъ, согнувшись, перебѣжалъ въ садъ и тотчасъ же вильнулъ въ глухую боковую аллею, густо заросшую кустами акаціи и сирени.

## XXVIII

Росы не было, не могли быть поэтому особенно слышны запахи вечерняго сада. Но Митѣ, при всей бессознательности всѣхъ его дѣйствій въ этотъ вечеръ, все же показалось, что онъ еще никогда въ жизни, —

за исключеніемъ, можетъ быть, ранняго дѣтства, — не встрѣчалъ такой силы и такого разнообразія запаховъ, какъ теперь. Все пахло — кусты акаціи, листья сирени, листья смородины, лопухи, черныбыльникъ, цвѣты, трава и сама земля, — съ живостью почти неестественной.

Быстро сдѣлавъ нѣсколько шаговъ съ жуткой мыслью: «а вдругъ она обманеть, не придетъ?» — теперь казалось, что вся жизнь зависитъ отъ того, придетъ или не придетъ Аленка, — уловивъ среди запаховъ растительности еще и запахъ вечерняго дыма откуда-то съ деревни, Митя еще разъ остановился, обернулся на мгновеніе: вечерній жукъ медленно плылъ и гудѣлъ гдѣ-то возлѣ него, точно сѣя тишину, успокоеніе и сумерки, но еще свѣтло было отъ зари, охватившей полнеба своимъ ровнымъ, долго не гаснущимъ свѣтомъ первыхъ лѣтнихъ зорь, а надъ крышей дома, кое-гдѣ видной изъ-за деревьевъ, высоко блестѣлъ въ прозрачной небесной пустотѣ крутой и острый серпокъ только что народившагося мѣсяца. Митя глянулъ на него, быстро и мелко перекрестился подъ ложечкой и шагнулъ въ кусты акаціи. Аллея вела въ лощину, но не къ шалашу, — къ нему надо было идти наискось, взять лѣвѣе. И Митя, шагнувъ черезъ кусты, побѣждалъ цѣликомъ, среди широко распростертыхъ яблонныхъ вѣтвей, то нагибаясь, то отстраняя ихъ отъ себя. Черезъ минуту онъ уже былъ на условленномъ мѣстѣ.

Онъ со страхомъ сунулся въ шалашъ, въ его темноту, пахнущую сухой прѣлой соломой, зорко оглянулъ его и почти съ радостью убѣдился, что тамъ еще никого нѣтъ. Но роковой мигъ близился, и онъ сталъ возлѣ шалаша, весь превратясь въ чуткость, въ напряженнѣйшее вниманіе. Весь день почти ни на минуту не

оставляло его необыкновенное тѣлесное возбужденіе. Теперь оно достигло высшей силы. Но странно — какъ днемъ, такъ и теперь, оно было какое-то самостоятельное, не проникало его всего, владѣло только тѣломъ, не захватывая души. Сердце однако билось страшно. А кругомъ было такъ поразительно тихо, что онъ слышалъ только одно — это біеніе. Беззвучно, неустанно вились, крутились мягкіе безцвѣтные мотыльки въ вѣтвяхъ, въ сѣрой листвѣ яблонь, разнообразно и узорно рисовавшихся на вечернемъ небѣ, и отъ этихъ мотыльковъ тишина казалась еще тише, точно мотыльки ворожили и заволаживали ее. Вдругъ гдѣ-то сзади него что-то хрустнуло — и звукъ этотъ какъ громъ поразилъ его. Онъ порывисто обернулся, глянулъ межъ деревьевъ по направленію къ валу — и увидалъ, что подъ сучьями яблонь катится на него что-то черное. Но еще не успѣлъ онъ сообразить, задать себѣ вопросъ, что это такое, какъ это темное, набѣжавъ на него, сдѣлало какое-то широкое движеніе — и оказалось Аленкой.

Она откинула, сбросила съ головы подолъ короткой юбки изъ черной самотканной шерсти, и онъ увидалъ ея испуганное и сіяющее улыбкой лицо. Она была боса, въ одной юбкѣ и въ простой суровой рубахѣ, заправленной въ юбку. Подъ рубахой стояли ея дѣвичьи груди. Широко вырѣзанный воротъ открывалъ ея шею и часть плечей, а засученные выше локтя рукава — округлая руки. И все въ ней, отъ небольшой головки, покрытой желтымъ платочкомъ, и до маленькихъ босыхъ ногъ, женскихъ и вмѣстѣ съ тѣмъ дѣтскихъ, было такъ хорошо, такъ ловко, такъ плѣнительно, что Митя, видѣвшій ее до сихъ поръ только наряженной, впервые увидавшій ее во всей прелести этой простоты, внутренне ахнулъ.

— Ну, скорѣе что-ли, — весело и воровски прошептала она и, оглянувшись, нырнула въ шалашъ, въ его пахучій сумракъ.

Тамъ она пріостановилась, а Митя, стиснувъ зубы, чтобы удержать ихъ стукъ, поспѣшилъ запустить руку въ карманъ — ноги его были напряжены, тверды, какъ желѣзо, — и сунулъ ей въ ладонь смятую пятирублевку. Она быстро спрятала ее за пазуху и сѣла на землю. Митя сѣлъ возлѣ нея и обнялъ ее за шею, не зная, что дѣлать, — надо ли цѣловать или нѣтъ. Запахъ ея платка, волосъ, луковый запахъ всего ея тѣла, смѣшанный съ запахомъ избы, дыма — все было до головокруженія хорошо, и Митя понималъ, чувствовалъ это. И все таки было все то же, что и раньше: страшная сила желанія, не переходящая въ желаніе душевное, въ блаженство, въ восторгъ, въ истому всего существа. Она откинулась и легла навзничь. Онъ легъ рядомъ, привалился къ ней, протянулъ руку. Тихо и нервно смѣясь, она поймала ее и потянула внизъ.

— Никакъ нельзя, — сказала она не то въ шутку, не то серьезно.

Она отвела его руку и цѣпко держала ее своей маленькой рукой, глаза ея смотрѣли въ треугольную раму шалаша на вѣтви яблонь, на уже потемнѣвшее, синее небо за этими вѣтвями и неподвижную красную точку Антареса, еще одиноко стоящую въ немъ. Что выражали эти глаза? Что надо было дѣлать? Поцѣловать въ шею, въ губы? Вдругъ она поспѣшно сказала, берясь за свою короткую черную юбку:

— Ну скорѣй что-ли...

Когда они поднялись, — Митя поднялся, совершенно пораженный разочарованіемъ, — она, перекрывая платокъ, поправляя волосы, спросила ожив-

леннымъ шепотомъ, — уже какъ близкій человѣкъ, какъ любовница:

— Вы, говорятъ, въ Субботино ѣздили. Тамъ полъ дешево поросять продаетъ. Правда?

## XXIX

На этой же недѣлѣ, въ субботу, дождь, начавшійся еще въ среду, лившій съ утра и до вечера, лилъ какъ изъ ведра.

Онъ то и дѣло припускалъ въ этотъ день особенно ожесточенно, бурно и мрачно.

И весь день Митя безъ устали ходилъ по саду и весь день такъ страшно плакалъ, что порой даже самъ дивился силѣ и обилію своихъ слезъ.

Параша искала его, кричала на дворѣ, въ липовой аллеѣ, звала обѣдать, потомъ чай пить — онъ не откликался.

Было холодно, пронзительно сыро, темно отъ тучъ; на ихъ чернотѣ густая зелень мокраго сада выдѣлялась особенно густо, свѣжо и ярко. Налетавшій отъ времени до времени вѣтеръ свергалъ съ деревьевъ еще и другой ливень, — цѣлый потопъ брызгъ. Но Митя ничего не видѣлъ, ни на что не обращалъ вниманія. Его бѣлый картузь обвисъ, сталъ темно сѣрый, гимназическая куртка почернѣла, голенища были до колѣнъ въ грязи. Весь облитый, весь насквозь промокшій, безъ единой кровинки въ лицѣ, съ заплаканными, безумными глазами, онъ былъ страшень.

Онъ курилъ папиросу за папиросой, широко шагаль по грязи аллеи, а порой просто куда попало, цѣликомъ, по высокой мокрой травѣ среди яблонь и грушъ, натываясь на ихъ кривые корявые сучья,

пестрѣвшіе сѣро-зеленымъ размокшимъ лишайникомъ. Онъ сидѣлъ на разбухшихъ, почернѣвшихъ скамейкахъ, уходилъ въ лощину, лежалъ на сырой соломѣ въ шалашѣ, на томъ самомъ мѣстѣ, гдѣ лежалъ съ Аленкой. Отъ холода, отъ ледяной сырости воздуха большія руки его посинѣли, губы стали лиловыми, смертельно-блѣдное лицо съ провалившимися щеками приняло фіолетовый оттѣнокъ. Онъ лежалъ на спинѣ, положивъ нога на ногу, а руки подъ голову, дико уставившись въ черную соломенную крышу, съ которой падали крупныя ржавыя капли. Потомъ скулы его стискивались, брови начинали прыгать. Онъ порывисто вскакивалъ, вытаскивалъ изъ кармана штановъ уже сто разъ прочитанное, испачканное и измятое письмо, полученное вчера поздно вечеромъ, — привезъ землемѣръ, по дѣлу пріѣхавшій въ усадьбу на нѣсколько дней, — и опять, въ сто первый разъ, жадно пожиралъ его:

«Дорогой Митя, не поминайте лихомъ, забудьте, забудьте все, что было! Я дурная, я гадкая, испорченная, я недостойна васъ, но я безумно люблю искусство! Я рѣшилась, жребій брошенъ, я уѣзжаю — вы знаете, съ кѣмъ... Вы чуткій, вы умный, вы поймете меня, умоляю, не мучь себя и меня! Не пиши мнѣ ничего, это бесполезно!»

Дойдя до этого мѣста, Митя яростно комкалъ письмо, падалъ на бокъ и, уткнувшись лицомъ въ мокрую солому, бѣшено стискивая зубы, захлебывался отъ рыданій. Это нечаянное ты, которое такъ страшно напоминало и даже какъ будто опять возстановливало ихъ близость и заливало сердце нестерпимой нѣжностью, — это было выше человѣческихъ силъ! А рядомъ съ этимъ ты — это твердое заявленіе, что даже писать ей теперь бесполезно! О, да, да, онъ это зналъ:

безполезно! Все кончено и кончено навѣки! Она падшая, опоганенная навсегда и безъ возврата! И нѣтъ предѣла отчаянному безсилію, любви, нѣжности — и отвращенію къ ней!

Передъ вечеромъ дождь, обрушившійся на садъ съ удесятенной силой и съ неожиданными ударами грома, погналъ его наконецъ въ домъ. Мокрый съ головы до ногъ, не попадая зубъ на зубъ отъ ледяной дрожи во всемъ тѣлѣ, онъ выглянулъ изъ - подъ деревьевъ и, убѣдившись, что его никто не видитъ, пробѣжалъ подъ свое окно, снаружи приподнялъ раму, — рама была старинная, съ подъемной половиной, — и, вскочивъ въ комнату, заперъ дверь на ключъ и бросился на кровать.

И стало быстро темнѣть. Дождь шумѣлъ повсюду, — и по крышѣ, и вокругъ дома, и въ саду. Шумъ его былъ двойной, разный, — въ саду одинъ, возлѣ дома, подъ непрерывное журчаніе и плескъ желобовъ, лившихъ воду въ лужи, — другой. И это создавало для Мити, мгновенно впавшаго въ летаргическое оцѣпенѣніе, необъяснимую тревогу и вмѣстѣ съ жаромъ, которымъ пылали его ноздри, его дыханіе и голова, погружало его точно въ наркозъ, создавало какой-то какъ-будто другой міръ, какое-то другое предвечернее время въ какомъ-то какъ-будто чужомъ, другомъ домѣ, въ которомъ было ужасное предчувствіе чего-то.

Онъ зналъ, онъ чувствовалъ, что онъ въ своей комнатѣ, уже почти темной отъ дождя и наступающаго вечера, что тамъ, въ залѣ, за чайнымъ столомъ, слышны голоса мамы, Ани, Кости и землемѣра, но вмѣстѣ съ тѣмъ уже шель по какому-то чужому залу вслѣдъ за уходившей отъ него молодой нянькой, и его охватывалъ необъяснимый, все растущій ужасъ, смѣшанный однако съ вождедѣніемъ, съ предчувствіемъ



близости кого-то съ кѣмъ-то, близости, въ которой было что-то противоестественно-омерзительное, но въ которой онъ и самъ какъ-то участвовалъ. Чувствовалось же все это черезъ посредство ребенка съ большимъ бѣлымъ лицомъ (бывшаго въ то же время и картиной, портретомъ Александра I), котораго, перегнувшись назадъ, несла на рукахъ и укачивала молоденькая нянька. Митя спѣшилъ обогнать ее, обогнать и уже хотѣлъ заглянуть ей въ лицо, — не Аленка ли это, — но неожиданно очутился въ сумрачной гимназической классной комнатѣ съ замазанными мѣломъ стеклами. Та, что стояла въ ней передъ комодомъ, передъ зеркаломъ, не могла его видѣть, — онъ вдругъ сталъ невидимъ. Она была въ шелковой желтой нижней юбкѣ, плотно облегающей округлыя бедра, въ туфелькахъ на высокихъ каблучкахъ, въ тонкихъ ажурныхъ черныхъ чулкахъ, сквозь которые просвѣчивало тѣло, и она, сладко робѣя и стыдясь, знала, что сейчасъ будетъ. Она уже успѣла спрятать ребенка въ ящикъ комода. Перекинувъ косу черезъ плечо, она быстро заплетала ее и, косясь на дверь, глядѣла въ зеркало, гдѣ отражалось ея припудренное личико, обнаженныя плечи и млечно-голубыя, съ розовыми сосками, маленькія груди. Дверь распахнулась — и, бодро и жутко оглядываясь, вошелъ господинъ въ смокингъ, съ безкровнымъ бритымъ лицомъ, съ черными и короткими курчавыми волосами. Онъ вынулъ плоскій золотой портсигаръ, сталъ развязно закуривать. Она, доплетая косу, робко смотрѣла на него, зная его цѣль, потомъ швырнула косу на плечо, подняла голыя руки... Онъ снисходительно обнялъ ее за талію — и она охватила его шею, показывая свои темныя подмышки, прильнула къ нему, спрятала лицо на его груди...

И Митя очнулся, весь въ поту, съ потрясающе яснымъ сознаниемъ, что онъ погибъ, что въ мѣръ такъ чудовищно безнадежно и мрачно, какъ не можетъ быть и въ преисподней, за могилой. Въ комнатѣ была тьма, за окнами шумѣло и плескалось, и этотъ шумъ и плескъ были нестерпимы (даже однимъ своимъ звукомъ) для тѣла, сплошь дрожащаго отъ озноба. Всего же нестерпимѣе и ужаснѣе была чудовищная противоестественность человѣческаго соитія, которое какъ-будто и онъ только что раздѣлилъ съ бритымъ господиномъ. Изъ залы были слышны голоса и смѣхъ. И они были ужасны и противоестественны своей отчужденностью отъ него, грубостью жизни, ея равнодушиемъ, беспощадностью къ нему...

— Катя! — сказалъ онъ, садясь на кровати, сбрасывая съ нея ноги. — Катя, что же это такое! — сказалъ онъ вслухъ, совершенно увѣренный, что она слышитъ его, что она здѣсь, что она молчитъ, не отзывается только потому, что сама раздавлена, сама понимаетъ непоправимый ужасъ всего того, что она надѣлала. — Ахъ, все равно, Катя, — прошепталъ онъ горько и нѣжно, желая сказать, что онъ проститъ ей все, лишь бы она по прежнему кинулась къ нему, чтобы они вмѣстѣ могли спастись, — спасти свою прекрасную любовь въ томъ прекраснѣйшемъ весеннемъ мѣрѣ, который еще такъ недавно былъ подобенъ раю. Но прошепталъ: «Ахъ, все равно, Катя!» — онъ тотчасъ-же понялъ, что нѣтъ, не все равно, что спасенія, возврата къ тому дивному видѣнью, что дано было ему когда-то въ Шаховскомъ, на балконѣ, заросшемъ жасминомъ, уже нѣтъ, не можетъ быть, и тихо заплакалъ отъ боли, раздирающей его грудь.

Она, эта боль, была такъ сильна, такъ нестерпима, что, не думая, что онъ дѣлаетъ, не сознавая, что изъ всего этого выйдетъ, страстно желая только одного — хоть на минуту избавиться отъ нея и не попасть опять въ тотъ ужасный міръ, гдѣ онъ провелъ весь день и гдѣ онъ только что былъ въ самомъ ужасномъ и отвратномъ изъ всѣхъ земныхъ сновъ, онъ дрожащей рукой нашарилъ и отодвинулъ ящикъ ночного столика, поймалъ холодный и тяжелый комъ револьвера и, глубоко и радостно вздохнувъ, раскрылъ ротъ и съ силой, съ наслажденіемъ выстрѣлилъ.

14.ix.1924

Приморскія Альпы.

## СВЯТИТЕЛЬ.

Двѣсти лѣтъ тому назадъ, въ нѣкій зимній день, Святитель, имѣвшій пребываніе въ нѣкоемъ древнемъ монастырѣ, чувствовалъ себя особенно слабымъ и умиленнымъ.

Вечеромъ въ его покоѣ, передъ многочисленными и прекрасными образами, горѣли лампы, а тепло изразцовой каменки и попоны, покрывавшія полъ, давали сладостный уютъ. И Святитель, сидя и грѣясь на лежанкѣ, тихо позвонилъ въ колокольчикъ.

Неслышно вошелъ и тихо поклонился служка.

— Милый братъ, позови ко мнѣ пѣвчихъ, — сказалъ Святитель. — Богъ проститъ мнѣ, недостойному, что я тревожу ихъ въ неурочный часъ.

И вскорѣ покой Святителя наполнился молодыми черноризцами, которые вошли въ однихъ шерстяныхъ чулкахъ, — разулись прежде чѣмъ войти.

И Святитель сказалъ въ отвѣтъ на ихъ зѣмное метаніе:

— Милые братья, хотѣлось бы мнѣ послушать мои юношескія пѣснопѣнія во славу пречистаго Рождества Господа нашего Іисуса Христа, Красоты нашей неизреченной.

И они стали вполголоса пѣть тѣ пѣснопѣнія, что Святитель созидаль въ своей ранней молодости.

И Онъ слушалъ, часто плача и закрывая глаза рукой.

Когда - же получили они отпускъ и, поклоняясь, стали выходить одинъ за другимъ, Святитель задержалъ одного изъ нихъ, любимѣйшаго, и повелъ съ нимъ долгую неспѣшную бесѣду.

Онъ рассказаль ему всю свою жизнь.

Онъ говорилъ о своемъ дѣтствѣ, отрочествѣ, о трудахъ и мечтахъ своей юности, о своихъ первыхъ, сладчайшихъ молитвенныхъ восторгахъ.

Прощаясь - же съ нимъ вблизи полуночи, поцѣловаль его съ лихорадочно - сіяющимъ взоромъ и поклонился ему въ ноги.

И эта была послѣдняя земная ночь Святителя: на разсвѣтѣ обрѣли его почившимъ, — съ двоерогимъ жезломъ въ рукѣ стояль Онъ на колѣняхъ передъ божницею, закинувъ назадъ свой тонкій и блѣдный ликъ, уже хладный и безгласный.

Такъ и пишется Онъ на одномъ древнемъ образѣ. И былъ этотъ образъ самымъ завѣтнымъ у одного святого, намъ почти современнаго, простаго тамбовскаго мужика. И молясь передъ нимъ, такъ обращался онъ къ великому и славному Святителю:

— Митюшка, милый!

Только одинъ Господь вѣдаетъ мѣру неизреченной красоты русской души.

7. V. 24.

## ИМЕНИНЫ.

Вмѣстѣ съ громадной пыльно - черной тучей, заходящей изъ - за сада, изъ - за вѣковыхъ березъ и сѣрыхъ итальянскихъ тополей, все болѣе жгучимъ становится ослѣпительный солнечный свѣтъ, его сухой степной жаръ — и все болѣе нѣмѣетъ усадьба, все мельче и серебристѣе струится листва на тополяхъ.

Нѣчто зловѣщее обступаетъ радостный солнечный мѣръ усадьбы.

Въ усадьбѣ — преизбытокъ довольства, счастья.

Домъ полонъ гостей, сосѣдей, родственниковъ, своихъ и чужихъ слугъ, — въ домѣ именины.

Идетъ обѣдъ, долгій, праздничный, съ закусками, съ пирогами, съ янтарнымъ бульономъ, съ маринадами къ жаренымъ индѣйкамъ, съ густыми наливками, съ пломбиромъ, съ шампанскимъ въ узкихъ старинныхъ бокалахъ, по краямъ золоченыхъ.

И я тоже въ усадьбѣ, въ домѣ, за обѣдомъ, но вмѣстѣ съ тѣмъ я все это — и день, и усадьбу, и гостей, и даже самого себя — вижу какъ бы во снѣ: я чувствую себя внѣ всего этого и вообще — внѣ жизни.

Я мальчикъ, ребенокъ, нарядный и счастливый наслѣдникъ всего этого міра, и мнѣ тоже празднично, — особенно отъ этихъ дѣдовскихъ бокаловъ, полныхъ

горько - сладкаго, золотисто - игриваго вина, — но вмѣстѣ съ тѣмъ и несказанно тяжко, такъ тяжко, точно вся вселенная на краю погибели, смерти.

Отчего?

Отъ этой страшной тучи, обступившей міръ, отъ надвигающейся великой грозы, отъ растущей тишины и замирающей въ ужасѣ природы?

А, нѣтъ! Еще и отъ другого, еще болѣе дивнаго: оттого, что, оказывается, не я одинъ внѣ всего этого, внѣ жизни: всѣ, окружающіе меня, тоже внѣ ея, хотя они и двигаются, пьютъ, ѣдятъ, говорятъ, смѣются.

И еще оттого, что я всѣмъ своимъ существомъ чувствую страшную давность, древность всего того, что я вижу, въ чемъ я участвую въ этотъ роковой, ни на что не похожій (и настоящій и вмѣстѣ съ тѣмъ такой давній) именинный день, въ этой столь мнѣ родной и въ то же время столь далекой и сказочной странѣ.

И въ душѣ моей растетъ такая тоска, такая загробная скорбь, что я наконецъ не выдерживаю — и просыпаюсь, внезапно расторгаю этотъ сонъ во снѣ...

Глубокая зимняя ночь, Парижъ.

9. V. 24.

## СКАРАБЕИ.

Вижу себя въ Каирѣ, въ Булакскомъ музеѣ.

Когда входилъ во дворъ, пара буйволовъ медленно влекла къ подъѣзду длинныя дроги, на которыхъ высился громадный саркофагъ изъ розоваго гранита. Усмѣхнувшись, подумалъ:

— Еще одинъ великій царь...

Разноцвѣтные гранитные саркофаги, гробы изъ золотистаго лакированного дерева загромождали и вестибюль. Пряно, сухо и тонко пахло — священный аромат мумій, какъ бы сама душа сказочной египетской древности. Но буднично и дѣловито перекликались, что - то спрашивали другъ у друга, что - то кому - то громко приказывали быстро проходившіе по звонкимъ коридорамъ и сбѣгавшіе съ главной лѣстницы чиновники, принимавшіе новую партію тысячулѣтнихъ покойниковъ...

А пройдя между гробами въ вестибюль, я вступилъ въ безконечныя залы, блистающія мертвенной чистотой и полныя другихъ гробовъ. И здѣсь чувствуется оно, это тонкое и сухое благовоніе, древнее и священное! Долго ходилъ и опять долго смотрѣлъ на маленькія черныя мощи Рамзеса Великаго въ его



стеклянномъ ящикѣ. Потомъ сѣлъ, и, какъ всегда въ подобныхъ случаяхъ, полонъ былъ самыхъ странныхъ чувствъ. Да, да, подумать только что я сижу возлѣ самого Великаго Рамзеса, въ двухъ шагахъ отъ его подлиннаго тѣла, пусть изсохшаго, почернѣвшаго, превратившагося въ однѣ кости, но все - же его подлиннаго тѣла! Этому не вѣрится, это непостижимо, но это такъ.

А рядомъ — скарабеи Мариетта. Мариеттъ помѣстилъ въ особой витринѣ, разложилъ въ хронологическомъ порядкѣ всѣ собранные имъ царскіе скарабеи, — триста штукъ чудесныхъ жучковъ изъ лаписъ - лазури и серпентина. На этихъ жучкахъ писали имена усопшихъ царей, ихъ клали на грудь царскихъ мумій, какъ символъ рождающейся изъ земли и вѣчно возрождающейся, безсмертной жизни. Мариеттъ собралъ жучковъ, разсортировалъ — и выставилъ на удивленіе всему человѣчеству:

— Вотъ вся исторія Египта, вся жизнь его за цѣлыхъ пять тысячъ лѣтъ...

Да, пять тысячъ лѣтъ жизни и славы, а въ итогѣ — игрушечная коллекція камешковъ! И камешки эти — символъ вѣчной жизни, символъ воскресенія! Горько усмѣхаться или радоваться?

Все таки радоваться.

Дѣло вѣдь все таки не въ камешкахъ, а въ томъ во - вѣки неистребимомъ (и самомъ дивномъ на землѣ), что и до сихъ поръ кровно связываетъ мое сердце съ сердцемъ, остывшимъ нѣсколько тысячелѣтій тому назадъ, съ сердцемъ, на коемъ тысячелѣтія покоился этотъ воистину божественный кусочекъ ляписъ-лазури, — съ человѣческимъ сердцемъ, которое въ тѣ легендарные дни такъ - же твердо, какъ и въ наши, отказывалось вѣрить въ смерть, а вѣрило только

въ жизнь. Все пройдетъ — не пройдетъ только эта  
вѣра! А почему не пройдетъ она? Почему?

...Въ сущности это былъ не сонъ, — это было не-  
обыкновенно точное и живое воспоминаніе объ од-  
номъ изъ моихъ давнихъ посѣщеній Булакскаго му-  
зея. Или нѣтъ, даже и не воспоминаніе, а нѣчто со-  
всѣмъ иное, истинно непостижимое: во снѣ я пере-  
жилъ одинъ изъ моихъ прошлыхъ дней, во снѣ этотъ  
день повторился, былъ, существовалъ въ мірѣ снова  
еще разъ. Я совершенно, совершенно забылъ о немъ,  
объ этомъ днѣ. Но онъ гдѣ - то таился, пребывалъ въ  
полной цѣльности и сохранности. И вотъ внезапно,  
безъ всякаго моего желанія и вѣдома, воскресъ, про-  
явился...

И съ какой восторженной твердостью говорилъ я  
себѣ во снѣ, что все таки, все таки «надо радоваться»!

10. V. 21.

## БОГИНЯ.

### I.

Я записалъ этотъ памятный день:

«Парижъ, 6 февраля 1924 г. Былъ на могилѣ Богини Разума».

### II.

Богиня Разума родилась въ Парижѣ, полтора вѣка тому назадъ, звали ее Тереза Анжелика Обри. Родители ея были люди совсѣмъ простые, жили очень скромно, даже бѣдно. Но судьба одарила ее необыкновенной красотой въ соединеніи съ рѣдкой граціей, въ отрочествѣ у нея обнаружился точный музыкальный слухъ и вѣрный, чистый голосокъ, а въ двухъ шагахъ отъ улочки Сэнъ - Мартэнъ, гдѣ она родилась и росла, находилось нѣчто сказочно - чудесное, зданіе Оперы. Естественно, что «античную головку» живой и талантливой дѣвочки рано стали туманить обольстительныя мечты, надежды на славную будущность. И случилось такъ, что мечты и надежды не только не обманули, но даже въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ превзошли ожиданія. Тереза Анжелика Обри не только стала артисткой Оперы, не только пѣла и танцо-

вала на ея сценѣ рядомъ съ знаменитостями и вызывала восторженныя рукоплесканія, являясь передъ толпой олимпійскими богинями, — то Діаной, то Венерой, то Аѳиной - Палладой, — но и попала въ исторію: 10 ноября 1793 года она играла на сценѣ, которую никогда не могла и вообразить себѣ, — въ соборѣ Парижской Богоматери, выступала въ роли неслыханной и невиданной, въ роли Богини Разума, а затѣмъ — «après avoir détrôné la ci - devant Sainte Vierge» — торжественно была отнесена въ Тюльерійскій дворецъ, въ Конвентъ: какъ живое воплощеніе новаго Божества, обрѣтеннаго человѣчествомъ.

Погребена Богиня на Монмартрскомъ кладбищѣ. Какъ не взглянуть на такую могилу?

### III.

Я давно собирался это сдѣлать. Наконецъ поѣхалъ. Въ солнечный день, уже почти весенній, но довольно пронзительный, съ блѣдно - голубымъ, кое - гдѣ подмазаннымъ небомъ, я вышелъ на улицу и спустился въ ближайшее метро. Сквозняки, бѣгущая толпа, длинные коридоры, цвѣтистыя рекламы, лѣстницы все вглубь и вглубь и наконецъ совсѣмъ преисподняя, ея влажное банное тепло, вѣчная ночь и огни, блескъ свода, сѣраго, рубчатаго, гланцевитаго, какъ брюхо адскаго змія... Черезъ минуту я уже стоялъ въ людномъ вагонѣ, мчался подъ Парижемъ и смотрѣлъ въ вечернюю газету. Тамъ было, конечно, все то - же: репараціонная проблема, Руръ, биржевая игра на пониженіе франка, кризисъ еще одного кабинета, новая рѣчь Пуанкарэ, новая выходка совѣтскихъ дипломатовъ, новая волна совѣтскаго террора, кон-

центрація совѣтскихъ войскъ близъ румынской границы, забастовка минеровъ, Макдональдъ, Муссолини, Чичеринъ и спортъ, спортъ, спортъ... И, опустивъ газету, я вспомнилъ, куда ѣду, и сталъ думать о Парижѣ времянь Богини Разума и опять — о ея удивительной судьбѣ, ея удивительномъ образѣ.

Современники писали о ней: «Одаренная всѣми внѣшними дарами, какія только можетъ дать природа женщинѣ, она есть живая модель того античнаго совершенства, которое являютъ намъ памятники искусства; при взглядѣ на ея станъ и очеркъ ея головы тотчасъ является мысль о грозной эгидѣ и шлемѣ Аѳины - Паллады, и она особенно на мѣстѣ въ тѣхъ роляхъ, гдѣ черты лица, жесты, осанка, поступь должны воссоздавать богинь...» Это писалось, когда ей было уже лѣтъ тридцать пять. Можно себѣ представить, какъ прекрасна была она въ двадцать, въ тѣ годы, когда она выходила на сцену въ короткой туникѣ, въ легкихъ сандаліяхъ на стройной ногѣ, съ золотымъ полумѣсяцемъ на высокой прическѣ, съ лукомъ въ длинныхъ округлыхъ рукахъ, — Діаной Дѣвственницей! Да, вотъ вамъ, сказалъ бы демократъ: дочь ремесленника — и безупречное благородство идеальной Греціи въ соединеніи съ версальскимъ изяществомъ! Примадонной, дивой Обри никогда не стала; матеріальное ея положеніе было незавидно — всего нѣсколько сотъ ливровъ въ годъ жалованія да уголь въ родительскомъ домѣ; положивъ за кулисами лукъ, снявъ бѣлила и румяна, сбросивъ тунику и закрутивъ волосы простымъ узломъ, она надѣвала грошевое платье и бѣжала домой, дома же хлебала гороховую похлебку и укладывалась спать въ чердачной коморкѣ. Но справедливо говорили, что мадемуазель Обри «très sage», — простодушіе, милая легкость,

нетребовательность, всегда отличали ея характеръ. И вотъ, «народъ, разбившій оковы рабства, достойно воздалъ ей 10 ноября 1793 года», обезсмертилъ «се chef-d'oeuvre de la Nature», какъ галантно назваль ее Шометь, представляя конвенту. И много лѣтъ послѣ того распѣвали уличные пѣвцы стихи самого Беранже:

Est-ce bien vous? Vous que je vis si belle  
Quand tout un peuple entourant votre char  
Vous saluait du nom de l'immortelle  
Dont votre main brandissait l'étendard?  
De nos respects, de nos cris d'allegresse,  
De votre gloire et de votre beauté,  
Vous marchiez fière: oui, vous étiez déesse,  
Déesse de la Liberté!

#### IV.

Возлѣ Оперы я вышелъ на свѣтъ Божій. Добродѣтельные греки были правы: небо, солнце, воздухъ — высшая радость смертныхъ, трижды несчастны тѣни, населяющія ширококватное царство Гадеса. Бѣдная Тереза Анжелика Обри, бѣдная Богиня Разума! Какъ бы это получше уяснить себѣ разумомъ, почему и за что уже сто лѣтъ гниеть въ землѣ «се chef-d'oeuvre de la Nature?»

Солнце, все таки еще зимнее, уже склонялось, былъ самый людный часъ, и несмѣтное множество народа и экипажей затопляло площадь въ его зеленоватомъ жидкомъ блескѣ. Пѣшеходы бѣжали, автомобили и омнибусы медленно текли страшной ревущей лавиной. Я поймалъ свободный автомобиль, вскочилъ и поѣхалъ дальше. Изъ одного длиннаго и узкаго уличнаго пролета глянулъ на меня съ высоты Мон-

мартра блѣдный и величавый восточный призракъ собора Sacre-Coeur. Какъ онъ всегда восхищаетъ и пугаетъ!

## V.

Въ автомобильѣ я добросовѣстно постарался вспомнить возможно подробнѣе и представить себѣ возможно яснѣе все, что зналъ о 10 ноября 1793 года.

Какой былъ тогда Парижъ? Да Богъ его знаетъ, какой, слабо наше воображеніе, не великъ разумъ. Ну, конечно, былъ Парижъ уже и тогда огромнымъ городомъ, со множествомъ садовъ и помѣстій, съ прекрасными зданіями, но и съ лачугами, съ лужами и грязью даже на площадяхъ, съ грубыми средневѣковыми мостами черезъ патріархальную Сену... Лѣвый берегъ вообразить легче, — столько еще сохранилось тамъ прежнихъ узкихъ улицъ и узкихъ нелѣпыхъ домовъ. За то соборъ все тотъ же. Какъ странно, — все тотъ же, какъ тогда, когда стояла подъ его сводами, на бутафорскихъ скалахъ, возлѣ Храма Премудрости, прелестная Тереза Анжелика Обри!

И на мгновеніе я довольно живо почувствовалъ душу Парижа въ тѣ годы, тотъ развалъ жизни, то нѣчто бездѣльное, праздничное и жуткое, то владычество черни, которымъ вѣетъ въ воздухъ во времена всѣхъ революцій. И былъ сырой осенній день съ сильнымъ холоднымъ вѣтромъ, смѣнившимся ночной проливной дождь, и всюду, — на мостахъ, въ уличкахъ, ведущихъ къ собору, и особенно на площади передъ нимъ и въ немъ самомъ, — было великое, какъ бы ярмарочное многолюдство, и поминутно раздавался надъ городомъ грохотъ пушекъ, салютующихъ коронацію Новаго Божества. А Новое Божество стояло

подъ сводами собора, «dans cette édifice ci-devant dit église métropolitaine», на скалистой горѣ, возлѣ бѣло-колоннаго «храма», въ красной шапочкѣ, въ бѣлой хламидѣ, опоясанной пурпуровой лентой, съ копьемъ въ рукѣ — и два хора, — «des adorateurs de la Liberté» — тоже во всемъ бѣломъ, въ вѣнкахъ изъ розъ, возжигали передъ ней ароматы, воздавали ей поклоненія и всѣ сразу протягивали къ ней обнаженныя руки подъ звуки кантаты:

Descends ô Liberté, fille de la Nature!

а густая толпа «патріотовъ», переполнявшая соборъ, ревѣла и рукоплескала...

## VI.

Монмартрское кладбище было когда-то за городомъ и, вѣроятно, было уютно, мирно, похоже на рощу, на большой садъ. Теперь все растушій городъ окружилъ его отовсюду, поглотилъ, включилъ въ себя. А такъ какъ оно лежитъ въ низменности, то черезъ эту низменность перекинутъ теперь длинный и тяжкій желѣзный мостъ, по которому непрерывно идутъ и ѣдутъ, катятся съ глухимъ гуломъ тяжкіе омнибусы, несутся и на разные лады вопятъ автомобили, гремятъ и звенятъ трамваи. И вотъ первое, что ударило по моему чувству и зрѣнію, когда я достигъ мѣста вѣчнаго пристанища Богини Разума: этотъ черный грубый мостъ, подъ которымъ проѣзжаютъ къ желѣзнымъ воротамъ кладбища и который день и ночь грохочетъ подъ покойниками. А затѣмъ произошло нѣчто даже и для меня не совсѣмъ неожиданное.

Я хорошо зналъ, что славная Тереза Анжелика



Обри была забыта еще при жизни весьма основательно, а впоследствии уже настолько, что цѣлыхъ сто лѣтъ даже историки, специально занимавшіеся изученіемъ «великой» революціи и въ частности культа разума, почти всѣ были убѣждены, что знаменитую революціонную Богиню изображала m-me Maillard, балетный кумиръ тѣхъ дней, пока не догадались заглянуть въ уцѣлѣвшія газеты отъ 11 ноября 1793 года. Но я какъ-то не подумалъ объ этомъ хорошенько, да отчасти и былъ правъ: вѣдь все таки теперь имя Терезы Анжелики Обри должно быть къ каждому новомъ учебникѣ. Мнѣ все таки представлялось, несмотря на всѣ мои горестныя мысли о ней, что по крайней мѣрѣ хоть на кладбищѣ-то ея могила есть нѣчто и всѣмъ вѣдома. Поэтому отчасти была простибельна наивность, съ которой я обратился къ первому встрѣчному: гдѣ могила Богини Разума? Однако, встрѣчный посмотрѣлъ на меня, какъ на помѣшаннаго:

— Богиня Разума? Что это такое?

Я пояснилъ. Но встрѣчный развелъ руками и резонно посовѣтовалъ мнѣ обратиться лучше въ кладбищенскую контору.

Тогда я еще увѣреннѣе направился въ контору. Каково-же было мое удивленіе, когда и въ конторѣ мнѣ отвѣтили на мой вопросъ вопросомъ-же:

— Эта ваша родственница, г-жа Обри?

— Но совсѣмъ нѣтъ, — сказалъ я, опѣшивъ.

— Она давно погребена?

— Въ январѣ 1829 года.

И тогда на меня почти яростно выпучили глаза:

— Помилуйте, да вы смѣтаетесь! Можемъ ли мы знать всѣхъ погребенныхъ здѣсь сто лѣтъ тому назадъ!

— Но неужели никто не посѣщаетъ эту могилу, и я первый справляюсь о ней у васъ?

— Кажется, первый! Обратитесь къ какому нибудь сторожу, можетъ, онъ случайно знаетъ по надписи на памятникѣ, если таковой есть и надпись сохранилась...

И, весьма афрапированный, я вышелъ изъ конторы.

## VII.

А затѣмъ я спросилъ о знаменитой могилѣ у полной, съ черными усиками женщины, стоявшей на порогѣ конторы, предполагая въ ней привратницу. Въ самомъ дѣлѣ, это была привратница и къ тому-же очень живая и толковая, — эти полныя съ усиками всегда такія. Но и она о могилѣ не имѣла никакого понятія. А затѣмъ я тщетно разспрашивалъ сторожей, встрѣчавшихся мнѣ въ голыхъ аллеяхъ, по которымъ я ходилъ не менѣе получаса, оглядывая надписи на памятникахъ. Затѣмъ опять обращался къ встрѣчнымъ дамамъ и господамъ въ траурѣ... И одинъ господинъ ни съ того ни съ сего (вѣрнѣе, съ расчетомъ хоть чѣмъ нибудь удовлетворить сумасшедшаго искателя знаменитыхъ могилъ) предложилъ мнѣ взглянуть на могилу Золя. Эта могила была въ двухъ шагахъ отъ меня, на пригоркѣ. Къ вечеру совсѣмъ засвѣжѣло, небо надъ кладбищемъ стало еще блѣднѣе, низкое солнце холодно и рѣзко освѣщало ледяную и блестящую наготу безобразно-громадной глыбы краснаго гранита, на которой не было ни единого религіознаго знака, ни одного слова Писанія, — очевидно, тоже въ честь Разума. Надъ глыбой стоялъ на цоколѣ терракотовый бюстъ — моложавый мужчина лѣтъ тридцати, щеголевато-демократической и артистически-рабочей наружности, съ длинными волосами и въ блузѣ. Я взглянулъ и,

закуривъ, разсѣянно сдѣлалъ нѣсколько шаговъ по аллеѣ, потомъ зачѣмъ-то въ сторону, среди деревьевъ, крестовъ и памятниковъ, гдѣ мѣстами лежалъ сѣрый снѣжокъ. — «Ну и Богъ съ ней, съ этой Богиней Разума, — подумалъ я, — пора домой» — и вдругъ увидалъ себя какъ разъ передъ ея могилой...

И присѣвъ на сосѣдній надгробный камень, я уставился на нее въ полномъ изумленіи.

## VIII.

Да, такъ вотъ оно что: даже на кладбищѣ ни единая душа не знаетъ и знать не желаетъ о какой-то Богинѣ Разума, нѣкогда коронованной вотъ въ этомъ самомъ Парижѣ, подъ древними сводами собора Парижской Богоматери! Но мало того: что же это такое передъ моими глазами?

Передъ моими глазами было старое и довольно невзрачное дерево. А подъ деревомъ — квадратъ ржавой рѣшетки. А въ квадратѣ — камень на совсѣмъ плоской и даже слегка осѣвшей землѣ, а на камнѣ — двѣ самыхъ простыхъ каменныхъ колонки въ аршинъ высоты, покосившихся, изъѣденныхъ временемъ, дождемъ и лишаями. Когда-то ихъ «украшали» урны. Теперь колонки лишены даже этихъ украшеній: одна урна совсѣмъ куда-то исчезла, другая валяется на землѣ. И на одной колонкѣ надпись: «Памяти Фанни», на другой — «Памяти Терезы Анжелики Обри...» — «Est-ce bien vous?»

Неужели это правда, что это именно она, она самая, мадемуазель Тереза Анжелика Обри, лежитъ въ землѣ въ двухъ шагахъ отъ меня?

Тамъ еще есть гнилые, смѣшавшіеся съ землей

остатки гроба, правильно лежащія кости, зубастый черепъ... Это она? Конечно, она. А съ другой стороны — конечно, не она... Мудрый разумъ, помощи, — я всегда въ подобныхъ случаяхъ совершенно теряюсь и путаюсь!

Но разумъ не помогаль.

## IX.

Безспорно, судьба Обри была удивительна. Но удивительна больше всего въ силу необыкновенныхъ несчастій. Въ общемъ, она была истинно ужасна. И Обри, при всей незамысловатости своей натуры, не могла не понимать этого даже въ тѣ дни, которые, казалось бы, должны были быть ея лучшими днями.

Революція совпала съ апогеемъ ея красоты и молодости. И, казалось-бы, что-жъ ей, молоденькой фигуранткѣ, да еще дочери ремесленника, революція? Только радость! А потомъ — «vous êtes déesse, déesse de la Liberté!» И жалованья прибавили; да еще сразу вдвое... Но нѣтъ, слишкомъ хороша она была по натурѣ для всѣхъ этихъ радостей.

На ея глазахъ началась и цѣлые годы длилась страшная гибель всей той жизни, среди которой она родилась, росла, мечтала о сценѣ и которая, конечно, только восхищала ее своимъ блескомъ. Разрушаетъ «старую жизнь» во время революцій не презрѣніе народа къ ней, а какъ разъ наоборотъ — острая зависть къ ней, жажда ея. А у Обри и даже зависти не было. Ей нужны были, судя по ея характеру, только рукоплесканія (причемъ рукоплесканія маркиза она, вѣроятно, все таки предпочитала рукоплесканіямъ трубочиста). И не могла она не чувствовать, не видѣть,

что такое есть то царство Братства и Равенства, въ которое она попала, то «Жертвоприношеніе Свободѣ», — «l'Offrande à la Liberté», — которое приказано было ежедневно разыгрывать въ Оперѣ и которое тоже ежедневно разыгрывалось на улицахъ, въ подвалахъ тюремъ и на площадяхъ съ гильотинами. Не могла она не понимать, въ какое, помимо всѣхъ ужасовъ, просто грязное и подлое время довелось ей жить. «Citoyens! Patriotes! Adorateurs de la Vertu!» И каждый звукъ, каждый жестъ — ложь, балаганъ, площадная истерія! А Богъ, церковь? Можетъ быть, она была равнодушна къ религіи. Но все таки не могло не потрясать ее и все то, что дѣлалось въ тѣ дни и съ религіей. вся эта вдругъ начавшаяся по всей странѣ бѣшенная, звѣрская охота за священниками, грабежъ и оскверненіе церквей и, какъ вѣнецъ всего, упраздненіе Бога по комиссарскимъ декретамъ и переименованіе въ «Храмъ Разума» собора Парижской Богородицы, сперва даже было предназначеннаго къ полному разрушенію. «La ci-devant Sainte-Vierge!» Самый послѣдній болванъ отъ революціи понималъ, какъ это прежде всего нестерпимо плоско, самага послѣдняго революціоннаго негодяя втайнѣ тошнило отъ этого. Могла ли быть горда и счастлива въ такіе дни вотъ эта самая милая, кроткая Тереза Анжелика, чьи кости лежатъ въ землѣ предо мною?

## Х.

Но она не только испытала весь этотъ общій кошмаръ, въ которомъ нѣсколько лѣтъ жила при ней вся страна. Надъ нею — уже лично надъ нею — внезапно разразилось нѣчто еще болѣе ужасное: «tout un peuple la saluait du nom de l'immortelle», то есть,

говоря проще, заставилъ ее играть самую дикую и постыдную роль въ кощунствѣ еще болѣе неслыханномъ, чѣмъ всѣ прочія. Прости ей, Боже, развѣ виновата была она! Вѣдь ее именно заставили, заставила самая свирѣпая изъ тираній, тиранія Свободы. Да она и сама не могла чувствовать себя виноватой. И все же не сладко ей, вѣроятно, было. «*Vous marchiez fière; oui, vous étiez déesse de la Liberté...*» О, пошлѣйшая изъ пошлостей! Конечно, въ глубинѣ души несчастной Терезы Анжелики была нѣкоторая доля женской и профессиональной гордости. Конечно, порой голова ея кружилась: вѣдь все таки она нынче, 10 ноября 1793 года, царица всего Парижа, первое лицо во всемъ этомъ небываломъ и грандіозномъ, хотя и чудовищномъ торжествѣ, и играетъ роль, которую не играла никогда ни одна актриса въ мѣрѣ, и все это благодаря своей красотѣ, тому, что она и впрямь есть истинный «*chef-d'oeuvre de la Nature*». Но вмѣстѣ съ тѣмъ какой неописуемый ужасъ долженъ былъ туманомъ стоять весь день надъ полуголой, до костей продрогшей и вообще до потери чувствъ замученной замѣстительницей Божьей Матери!

Повторяю, — и до 10 ноября испытала она уже не мало, неизмѣнно участвуя во всей той напыщенной пошлости, которая каждый день шла, по приказу насквозь изолгавшихся изувѣровъ, на сценѣ Оперы. Она, говорю, уже хорошо знала, что это значитъ, въ дѣйствительной жизни, всѣ эти «*l'Offrande à la Liberté*» и «*Toute la Grèce ou ce que peut la Liberté*». Революціонные вожди, какъ и полагается имъ по революціоннымъ обычаямъ, развивали сумасшедшую дѣятельность, каждый Божій день поражали городъ какой-нибудь новой выходкой, такъ что въ концѣ концовъ и воспріимчивости не хватало на эти выходки, и самое неожиданное

уже теряло характеръ неожиданности. И все таки торжество 10 ноября свалилось на Парижъ (а на Обри еще болѣе) истинно какъ жуткій снѣгъ на голову. «Pour activer le mouvement antipariste», Шометь въ четвергъ седьмого ноября вдругъ распорядился на воскресенья десятаго о «всенародномъ» празднествѣ въ честь Разума, о безпримѣрномъ кощунствѣ въ стѣнахъ Парижскаго собора, а m-lle Обри было объявлено, что ей выпала да долю величайшая честь возглавить это кощунство. И приготовления къ празднеству закипѣли съ остервенѣніемъ, и къ воскресенью все потребное, чтобы Богъ и попы были посрамлены окончательно, было вполнѣ готово. Всю ночь накануне лилъ какъ изъ ведра ледяной дождь. Утромъ онъ пересталъ, но грязь была непролазная и дулъ свирѣпый вѣтеръ. Тѣмъ не менѣе, съ ранняго утра загрохотали пушки, загремѣли барабаны, Парижъ сталъ высыпать на улицу...

## XI.

И было великое безобразіе, а для Обри и великое мученіе, даже тѣлесное. Съ ранняго утра она, вмѣстѣ съ прочими «Обожателями свободы», то есть съ кордебалетомъ и хоромъ, была уже въ холодномъ соборѣ, репетировала. Потомъ стали собираться «патріоты», прискакалъ озобоченный Шометь — и началось торжество. Потомъ — и все подъ стукъ пушекъ, пѣніе, барабаны и шумъ толпы — четыре босяка, ухмыляясь, подняли на свои дюжія плечи Обри вмѣстѣ съ ея трономъ и понесли, въ соупутствіи хора и кордебалета, пробиваясь сквозь толпу, сперва на площадь, «къ народу», а затѣмъ въ Конвентъ. И опять — давка, говоръ, крики, смѣхъ, остроты, а

ноги чавкають по грязі, попадають въ лужи, вѣтеръ рветъ голубую мантию и красную шапочку посинѣвшей Богини, кордебалетъ тоже стучитъ зубами въ своихъ вздувающихся отъ вѣтра бѣлыхъ рубашечкахъ, забрызганныхъ грязью, а сзади высоко качаются надъ толпой шесты, на которыхъ надѣты, для вящей потѣхи, золотое облаченіе и митра Парижскаго Архієпископа. А въ Конвентѣ — торжественный пріемъ Богини всѣмъ «высокимъ собраніемъ» во главѣ съ президентомъ, который ее привѣтствуетъ «какъ новое божество челоуѣчества», «заключаетъ отъ имени всего французскаго народа въ объятія», возводитъ на трибуну и сажаетъ рядоу съ собою... Тутъ бы, казалось, и конецъ. Но нѣтъ! Изъ Конвента Обри понесли, совершенно такъ-же, какъ и принесли, назадъ, въ соборъ! Вообразите себѣ хорошенько это новое путешествіе и перечитайте затѣмъ стихотворное краснорѣчіе Беранже...

## XII.

Прошла революція, снова наступила Имперія и снова Обри заставляла разомъ подниматься всѣ бинокли и лорнеты при своемъ появленіи на сценѣ. Звѣзда ея стояла высоко, время, молодость, успѣхи сдѣлали прошлое далекимъ сномъ. Но вотъ однажды, въ одинъ изъ самыхъ блестящихъ вечеровъ, въ присутствіи самой Императрицы и ея Двора, во время апопееза, которымъ оканчивалось «Возвращеніе Улисса», въ тотъ моментъ, когда Минерву-Обри медленно спускали съ облаковъ на землю, «слава» — я употребляю театральнй терминъ того времени — «слава», на которой возсѣдала она, внезапно сорвалась и обрушилась... Когда-то Обри уступила однажды потребности любить,



быть матерью — и стала ей. Теперь, послѣ того, какъ ее, окровавленную и изувѣченную, принесли въ уборную и привели въ чувство, первое, что слетѣло съ ея губъ, былъ крикъ: «Ради Бога, не пускайте ко мнѣ Фанни, это испугаетъ ее!» А затѣмъ она тотчасъ стала умолять сказать ей правду: будетъ ли она въ состояніи снова играть, если останется жива?

Нѣтъ, играть ей больше не пришлось. Всѣми вскорѣ забытая, калѣка, обезпеченная только скудной пенсіей, она повела грустную и однообразную жизнь въ бѣдной и маленькой квартиркѣ, съ болѣзненной, медленно умиравшей Фанни на рукахъ, и жизнь эта, къ несчастью, длилась еще много лѣтъ. Уличные пѣвцы пѣли подъ ея окнами:

Je vous revois, et le temps rapide  
Ternit ces yeux où riaient les amours...  
Résignez-vous: char, autel, fleurs, jeunesse,  
Gloire, vertu, grandeur, espoir, fierté,  
Tout a péri: vous n'êtes pas déesse,  
Déesse de la Liberté...

Но знала ли она, что все это относится къ ней? Нѣтъ, она даже этого не знала. Она знала только одно, знала и безъ Беранже: да, да, все прошло, все погибло, осталось дѣйствительно одно — покоряться судьбѣ да употреблять остатокъ силъ на заботы о Фанни, на то, чтобы хоть какъ-нибудь обезпечить ее послѣ своей смерти. Она всячески хлопотала объ устройствѣ судьбы Фанни, писала завѣщаніе, прося добрыхъ людей о ней да еще о своихъ похоронахъ, — о томъ, чтобы все было «прилично» и «чтобы поставили памятничекъ на ея могилѣ». И Богъ далъ ей подъ конецъ хотя и одно, но великое утѣшеніе: все таки Фанни пережила ее, — Фанни успокоилась вотъ

въ этой самой могилѣ, что передо мною, черезъ полтора мѣсяца послѣ ея смерти...

А можетъ быть, ей было бы отраднѣе знать, умирая, что черезъ полтора мѣсяца она снова будетъ рядомъ — и уже навѣки — со своею Фанни? Можетъ быть, можетъ быть... Что мы знаемъ? Что мы знаемъ, что мы понимаемъ, что мы можемъ?

### XIII.

Одно хорошо: отъ жизни человѣчества, отъ вѣковъ поколѣній остается на землѣ только высокое, доброе и прекрасное, только это. Все злое, подлое и низкое, глупое въ концѣ концовъ не оставляетъ слѣда: его нѣтъ, не видно. А что осталось, что есть? Лучшія страницы лучшихъ книгъ, преданія о чести, о совѣсти, о самопожертвованіи, о благородныхъ подвигахъ, чудесныя пѣсни и статуи, великія и святыя могилы, греческіе храмы, готическіе соборы, ихъ райски-дивныя цвѣтныя стекла, органные громы и жалобы, «Dies irae» и «Смертію смерть поправъ»... Остался, есть и во вѣки будетъ Тотъ, Кто, со креста любви и страданія, простираетъ своимъ убійцамъ неизмѣнно нѣжныя объятія, и Она, Единая, Богиня богинь, Ея же благословенному царствію не будетъ конца.

16. V. 24.

## МУЗЫКА.

Я взялся за дверную ручку, потянулъ ее къ себѣ — и тотчасъ-же заигралъ чудесный оркестръ. За раскрытымъ окномъ шли назадъ лунныя поля — домъ сталъ бѣгущимъ поѣздомъ. Я тянулъ то крѣпче, то слабѣе — и, необыкновенно легко согласуясь съ моимъ желаніемъ, то тише, то громче, то торжественно ширясь, то очаровательно замирая, звучала музыка, передъ которой была ничто музыка всѣхъ Бетховеновъ въ мірѣ. Я уже понялъ, что это сонъ, мнѣ было уже страшно отъ его необыкновенной жизненности, и я сдѣлалъ отчаянное усиліе очнуться и, очнувшись, сбросилъ ноги съ кровати и зажегъ огонь, но тотчасъ-же узналъ, что все это опять дьявольская игра сна, что я лежу, что я въ темнотѣ и что нужно во что бы то ни стало освободиться отъ этого навожденія, въ которомъ несомнѣнно чувствовалась какая-то потусторонняя, чужая, хотя въ то же время и моя сила, сила могущественная нечеловѣчески, потому что человѣческое воображеніе обычной, дневной жизни, будь то воображеніе хоть всѣхъ Толстыхъ и Шекспировъ вмѣстѣ, можетъ все таки только воображать, грезить, то есть все таки мыслить, а не дѣлать. Я-же дѣлалъ, именно дѣлалъ, нѣчто совершенно непостижимое: я дѣлалъ музыку, бѣгущій поѣздъ, комнату,

въ которой я будто бы очнулся и будто бы зажегъ огонь, я творилъ ихъ такъ-же легко, такъ-же дивно и съ такой-же вещественностью, какъ можетъ творить только Богъ, и видѣлъ творимое мною ни чуть не менѣе ясно и ощутительно, чѣмъ вижу я сейчасъ, на яву, при свѣтѣ дня, вотъ этотъ столъ, на которомъ я пишу, вотъ эту чернильницу, въ которую я только что обмакнулъ перо...

Что-же это такое? Кто творилъ? Я, вотъ сейчасъ пишушій эти строки, думающій и сознающій себя, или кто-то другой, сущій во мнѣ помимо меня, тайный даже для меня самого и несказанно болѣе могущественный по сравненію со мною, себя въ этой обыденной жизни сознающимъ? И что вещественно и что невещественно?

25. V. 24.

## СЛѢПОЙ.

Если выйти на моль, встрѣтишь, не смотря на яркое солнце, рѣзкій вѣтеръ и увидишь далекія зимнія вершины Альпъ, серебряныя, почти страшныя. Но въ затишьи, въ этомъ бѣломъ городкѣ, на набережной, — тепло, блескъ, по весеннему одѣтые люди, которые гуляютъ или сидятъ на скамьяхъ подъ пальмами, весело щурясь изъ подъ соломенныхъ шляпъ на густую синеву моря и бѣлоснѣжную статую англійскаго короля, въ морской формѣ стоящаго въ пустотѣ свѣтлаго неба.

Онъ-же сидитъ одиноко, спиной къ заливу, и не видитъ, а только чувствуетъ солнце, грѣющее его спину. Онъ съ раскрытой головой, сѣдъ, старчески благообразенъ. Поза его напряженно неподвижная и, какъ у всѣхъ слѣпыхъ, египетская: держится прямо, сдвинувъ колѣни, положивъ на нихъ перевернутый картузь и большія загорѣлыя руки, приподнявъ свое какъ бы изваянное лицо и слегка обративъ его въ сторону, — все время сторожа чуткимъ слухомъ голоса и шуршащія шаги гуляющихъ. Все время онъ негромко, однообразно и слегка пѣвуче говоритъ, горестно и смиренно напоминаетъ намъ о нашемъ долгѣ быть добрыми и милосердными. И когда я приостанавли-

ваюсь наконецъ и кладу въ его картузь, передъ его незрячимъ лицомъ, нѣсколько сантимовъ, онъ, все такъ-же незряче глядя въ пространство, не мѣняя ни позы, ни выраженія лица, на мигъ прерываетъ свою пѣвучую и складную, заученную рѣчь и говоритъ уже просто и сердечно:

— *Merci, merci, mon bon frère!*

«*Mon bon frère...*». Это трогаетъ необыкновенно, эти слова несешь въ себѣ долго. Да, да, всѣ мы братья. Но только смерть или великія скорби, великія несчастія напоминаютъ намъ объ этомъ съ подлинной и неотразимой убѣдительностью, лишая насъ нашихъ земныхъ чиновъ, выводя насъ изъ круга обыденной жизни. Какъ увѣренно произноситъ онъ это: *mon bon frère!* У него нѣтъ и не можетъ быть страха, что онъ сказалъ невпопадъ, назвавши братомъ не обычнаго прохожаго, а короля или президента республики, знаменитаго человѣка или милліардера. И совсѣмъ, совсѣмъ не потому у него нѣтъ этого страха, что ему все простятъ по его слѣпотѣ, по его невѣдѣнію. Нѣтъ, совсѣмъ не потому. Просто онъ теперь больше всѣхъ королей. Десница Божія, коснувшаяся его, какъ бы лишила его имени, времени, пространства. Онъ теперь просто человѣкъ, которому всѣ братья...

И правъ онъ и въ другомъ: всѣ мы въ сущности своей добры. Я иду, дышу, вижу, чувствую, — я несу въ себѣ жизнь, ея полноту и радость. Что это значитъ? Это значитъ, что я воспринимаю, приѣмлю все, что окружаетъ меня, что оно мило, пріятно, родственномнѣ, то есть, вызываетъ во мнѣ любовь. Такъ что жизнь есть не-сомнѣнно любовь, доброта, и уменьшеніе любви, доброты есть всегда уменьшеніе жизни, есть смерть. И вотъ онъ, этотъ слѣпой, зоветъ меня, когда я прохожу: «Взгляни и на меня, почувствуй любовь и

ко мнѣ; тебѣ все родственно въ этомъ мірѣ въ это прекрасное утро, — значить родственъ и я; а разъ родственъ, ты не можешь быть безчувственъ къ моему одиночеству и моей беспомощности, ибо моя плоть, какъ и плоть всего міра, едина съ твоей, ибо твое ощущение жизни есть ощущение любви, ибо всякое страданіе есть наше общее страданіе, нарушающее нашу общую радость жизни, то есть ощущенія другъ друга и всего сущаго!»

Не пекитесь о равенствѣ въ обыденности, въ ея зависти, ненависти, зломъ состязаніи.

Такъ равенства не можетъ быть, никогда не было и не будетъ.

25. V. 24.

## ТОВАРИЩЪ ДОЗОРНЫЙ.

*Разсказъ Н. Н.*

Мнѣ было тогда двадцать лѣтъ, я жилъ у сестры въ ея орловскомъ имѣннн. Какъ сейчасъ помню, понадобилась мнѣ лишняя полка для книгъ. Сестра сказала:

— Да позови Костина...

Вечеромъ Костинъ пришелъ, взялъ заказъ. Мы разговорились, заинтересовались другъ другомъ и вскорѣ стали какъ бы пріятелями.

Онъ былъ мой ровесникъ. Помимо наслѣдственнаго ремесла, — его покойный отецъ тоже столярничалъ, — онъ имѣлъ еще и другое: самоучкой одолѣвъ грамоту, онъ добился того, что попалъ помощникомъ учителя въ школу, построенную возлѣ церкви моимъ шуриномъ, и даже переселился въ нее, оставивъ мать, старшаго брата и сестру въ избѣ на деревнѣ, такъ какъ уже стыдился мужицкой жизни, а кромѣ того еще и потому, что старшій братъ, человекъ хозяйственный, спокойный и здравый, считалъ его круглымъ дуракомъ. И точно, былъ онъ довольно странень.

Онъ былъ очень высокъ и миловиденъ, слегка заикался и, какъ многіе заики, цвѣтъ лица имѣлъ дѣвичій и поминутно вспыхивалъ румянцемъ. Робокъ и застѣн-



чивъ онъ былъ вообще на рѣдкость, больше секунды глядѣть въ глаза собесѣднику никакъ не могъ. Сразу было видно, что онъ живетъ въ какомъ-то своемъ собственномъ мірѣ, что онъ втайнѣ снѣдаемъ необыкновеннымъ самолюбіемъ, страшной обидчивостью и мучительной завистью совершенно ко всему на свѣтѣ, изъ которой проистекало его другое удивительное свойство: ненасытное, чисто идиотическое любопытство и обезьянство.

Видѣться и говорить съ нимъ было въ сущности томительно. Онъ не говорилъ, а только все спрашивалъ. Вся его рѣчь состояла изъ однихъ настойчивыхъ и подробныхъ разспрашиваній, выпытываній: что, какъ и почему? Онъ съ наслажденіемъ повторялъ всякій отвѣтъ и тотчасъ же ставилъ слѣдующій вопросъ. Держить какую-нибудь вещь, взятую для работы, для поправки или уже сработанную и принесенную, внимательно оглядываетъ ее, ощупываетъ, гладитъ своими большими руками — и мучитъ васъ: разспрашиваетъ буквально обо всемъ, чего бы случайно ни коснулся разговоръ, повторяетъ съ удивленной и довольной улыбкой отвѣты и, видимо, даже на мгновение не сомнѣвается, нужно это ему знать или не нужно. Притомъ онъ свято вѣрилъ положительно всему, что ни скажи. Я разъ пошутилъ, — въ Америкѣ всѣ внизъ головами ходятъ, даже волосы у всѣхъ висятъ: онъ съ удовольствіемъ изумился, повторилъ и повѣрилъ. Вообще шутокъ онъ не понималъ и не чувствовалъ совершенно.

И съ утра до вечера, каждую свободную минуту, онъ чему нибудь учился, неустанно обезьянничалъ: что ни увидитъ, что ни узнаетъ, всему учится, всему подражаетъ и всегда безталанно, хотя и довольно точно. Чего только не умѣлъ онъ! Поправлялъ часы и

гармоньи, мой велосипедъ и лавочниковъ аристонъ, переплеталь книги и налаживаль перепелиныя дудки, на жилейкахъ тайкомъ учился играть и стихи писалъ... Всего и не вспомнишь.

Конечно, онъ не пилъ, не курилъ, — тутъ его обезьянство уступало той женственности, которая отличала его натуру и, кстати сказать, производила впечатлѣніе довольно таки непріятное; одѣвался со скромной нарядностью, — тонкіе сапоги, пиджачекъ, вышитая косоворотка, новенькій картузь, — и даже носовой платокъ носилъ съ собой. Въ рукахъ неизмѣнно желѣзный костыликъ.

Школа стояла рядомъ съ церковной караулкой. Въ большіе праздники мужики, приходившіе къ обѣднѣ, дожидались службы, курили и вели оживленныя бесѣды всегда въ караулкѣ. Костинъ являлся туда раньше всѣхъ и внимательно слушалъ все, что говорилось, самъ однако въ разговоръ не вступая, сидя въ сторонкѣ, внимательно что-нибудь разглядывая, — скалку, утюгъ, зазубренный топоръ, — и тая на губахъ чуть замѣтную довольную усмѣшку надъ мужицкой глупостью и болтливостью.

Я часто заходилъ къ нему по вечерамъ: всегда дома и всегда что-нибудь прилежно работаетъ. Горитъ тусклая лампочка на столѣ, а онъ сидитъ, гнется возлѣ нея. Косоворотка навывпускъ, подпоясана шелковымъ жгутомъ съ мохрами. Лицо чистое, худощавое, но круглое, глаза съ бѣлесой зеленью, свѣтложелтые волосы, примасленные и причесанные на косою рядъ, падаютъ прядью на лобъ. Увидя меня, дружелюбно оживляется и тотчасъ-же, слегка заикаясь и избѣгая глядѣть въ глаза, пускается въ распросы. Иногда вынимаетъ изъ стола тетрадку и подаетъ мнѣ:

— Йсть новенькіе. Прочтите и обкритикуйте.

Я развертываю и читаю:

Рѣзвая струя въ лугахъ бѣжить,  
Есть у нея удачное названье,  
Какъ только пловца заманить,  
А онъ погибнетъ безъ сознанья...

— Это опять акростихъ?

— Аккростихъ. Выходить: ррѣка. Только, конечно, ять нельзя вставить...

Хорошо помню, какъ я зашелъ къ нему въ послѣдній разъ.

Была поздняя осень, роковые дни для него и для меня — вотъ-вотъ надо было ѣхать въ городъ, ставиться въ солдаты. Наступила Казанская, оставалась всего недѣля нашей свободы. Утромъ, чѣмъ свѣтъ, я, помню, пошелъ къ обѣднѣ, зашелъ въ карулку: еще горитъ лампочка, караулка полнымъ полна расцвѣченными дѣвками, бабами, мужиками и накурена, какъ овинь; мужики галдятъ, а бабы и дѣвки все поглядываютъ на нары подъ полатами, шепчутся и покатываются со смѣху, валяются другъ на друга; предметъ смѣха — обычный: Костинъ; онъ-же сидитъ, опустивъ глаза, и что-то разглядываетъ; на головѣ высокая шапка сѣраго барашка, на сапогахъ новыя глубокія калоши, одѣтъ въ новую теплую поддевку чернаго сукна, лицо алое отъ обиды, но на губахъ улыбочка... А вечеромъ я побрелъ къ нему въ школу. Грязь была страшная, тьма хоть глазъ выколи. Сверху сыпалась и сыпалась мельчайшая мга. Я шелъ черезъ садъ какъ слѣпой, чувствуя только одно — тьму, осеннее тепло, теплую душистую гниль мокрыхъ деревьевъ, ихъ коры и щекочущую влажную пыль на лицѣ. Наконецъ заблѣлъ туманный огонекъ впереди — знакомая лампочка на столѣ возлѣ окна въ школѣ — одинокій,

единственный свѣтъ во всемъ селѣ, уже давно спящемъ мертвымъ сномъ. Костинъ спокойно сидѣлъ за работой — съ явнымъ удовольствіемъ оклеивалъ тонкими пластинками фанеры чью-то шашечную доску. А на его работу тупо и странно-весело, блестящими кофейными глазами, смотрѣла сидѣвшая за партой возлѣ стѣны небольшая бабочка съ кудряшками на крутомъ лбѣ, молодая жена церковнаго сторожа, — совсѣмъ бы ничего себѣ бабочка, если бы не ничтожный носикъ съ заячьими маленькими ноздрями. Мнѣ было не по себѣ, и я, притворяясь небрежнымъ и шутивымъ, заговорилъ о томъ, что меня томило, — о поѣздкѣ въ городъ. Но, къ крайнему моему удивленію, Костинъ совершенно не раздѣлилъ моихъ чувствъ: напротивъ, его эта поѣздка очень интересовала и потому радовала.

— Ахъ, нѣтъ, — сказалъ онъ, съ увлеченіемъ продолжая работать и отъ этого почти не заикаясь: — я бы, кажется, попросился стать, если бы меня не взяли. Надѣюсь непременно попасть въ Царство Польское. Два шага до Ппарижа!

И вдругъ прибавилъ, кивая головой на свою молчаливую и все только тупо улыбающуюся гостью:

— Вотъ она, по глупости, тоже оплакиваетъ меня. Говорить, — влюбилась. А съ какой стороны она можетъ быть мнѣ интересна?

Гостья страшно покраснѣла, смутилась и трогательно-неловко отвѣтила:

— Ужъ хоть-бы не брехалъ-то! Дюже ты мнѣ надобенъ!

Онъ только небрежно усмѣхнулся.

Черезъ недѣлю мы поѣхали съ нимъ ночью на станцію, къ шестичасовому поѣзду. Я взялъ его къ себѣ въ тарантасъ. Онъ всю дорогу неспѣша разспрашивалъ

меня на счет военной службы въ другихъ странахъ, а тарантасъ качался въ темнотѣ и туманѣ, невидимыя лошади шлепали по лужамъ, оступались въ колдобины, полныя воды и грязи. Передъ станціей стало трудно и угрюмо свѣтать, стали, приближаясь, обозначаться мутныя холодныя деревья въ станціонномъ дворѣ... Помню, долго ждали поѣзда, наконецъ показался вдали, въ мертвенно блѣдномъ разсвѣтномъ туманѣ, бѣлый, тяжело и густо клубящійся дымъ, потомъ черный паровозъ, медленно выплывающій изъ мглистаго моря осеннихъ полей... И еще почему-то помню: рядомъ съ тѣмъ вагономъ, въ который мы сѣли, былъ арестанскій вагонъ съ желѣзными рѣшетками въ квадратныхъ окошечкахъ, и возлѣ одного окошечка стоялъ, держась за рѣшетку руками въ кандалахъ, худой старикъ въ пенснэ на горбатомъ носу, съ красными вѣками; и очень страннымъ казалось это пенснэ въ соединеніи съ каторжной фуражкой, съ сѣрымъ блиномъ безъ козырька...

А въ городѣ было великое множество деревенскаго народа, съ громкимъ и озобоченнымъ говоромъ идущаго серединой улицы, возлѣ же земской управы, гдѣ шель пріемъ, весь день стояла густая толпа, и чего только въ этой толпѣ не было! Плачь, вой, причитанія, крики годныхъ, буйно и отчаянно дерущихъ свои гармоньи, — вся та дикая и жуткая балаганщина, въ которую русскій челоувѣкъ съ наслажденіемъ облакаетъ свое горе, всячески разжигая его въ себѣ. А въ пріемной залѣ отъ самой входной двери, которая поминутно отворялась, въ которую несло ледяной сыростью, и до самаго присутственнаго стола, откуда раздавался необыкновенно звучный выкликающій голосъ воинскаго начальника, тянулась страшная шеренга голыхъ тѣлъ, — коротконогихъ, худыхъ (но не-

измѣнно пузатыхъ), мѣловыхъ, съ коричневою сыпью отъ укусовъ таракановъ на кострецахъ, тамъ, гдѣ у каждаго на тѣлѣ была полоса отъ постоянно врѣзающейся оборки портокъ. Мы съ Костинымъ пробрались впередъ и тоже стали раздѣваться. Военскій начальникъ, стоявшій за столомъ, въ кругу присутствія, передъ серебряной пирамидкой съ распятіемъ, быстро взглянулъ на меня и что-то крикнулъ особенно звучно. Онъ былъ молодецъ, красивъ, затянутъ въ мундиръ, преисполненъ энергіи; короткіе волосы его курчавились, длинные кудрявые усы торчали, свѣтлые глаза зоркимъ огнемъ освѣщали лицо. Костинъ, сидя и стягивая съ себя сапогъ, замеръ и, весь алый отъ натуги и волненія, радостнымъ шепотомъ спросилъ меня: — Онъ ссамый главный и есть?

Черезъ часъ его забили. А черезъ полмѣсяца мы съ нимъ разстались — и очень надолго, на цѣлыхъ двадцать лѣтъ. Встрѣтились-же снова такъ :

Была осень девятнадцатаго года. Наша армія только что оставила К. Я по нѣкоторымъ причинамъ задержался на нѣкоторое время, скрываясь всѣми правдами и неправдами подъ видомъ самаго дрянного мужиченка. А городъ уже наполнялся большевицкими властями и учрежденіями, вступавшими войсками и обозами, и чекисты, во главѣ съ какимъ-то товарищемъ Дозорнымъ, уже работали не покладая рукъ. Въ ледяной солнечный день я шелъ однажды на главную улицу. Прошелъ мимо собора, глядя на голый городской садъ, чернѣвшій напротивъ него, потомъ пошелъ по тротуару вдоль бывшихъ присутственныхъ мѣстъ, увѣшанныхъ красными флагами. Передъ этими присутственными мѣстами тянется площадь и идетъ дорога подъ гору, къ мосту черезъ рѣку. И вотъ, въ ту минуту, когда я только что поравнялся съ подъѣздомъ бывшей судебной палаты, изъ-подъ горы вырвался и полнымъ

махомъ прямо на меня понесся небольшой конный отрядъ, а за нимъ — длинный могучій сѣрый автомобиль. Все это появилось такъ неожиданно и очутилось возлѣ поѣзда такъ мгновенно, что я невольно приостановился. Изъ машины — же, межъ тѣмъ, уже выскакивалъ высокій человекъ въ бѣлой папахѣ, въ чудесной офицерской поддевкѣ съ бѣлымъ барашковымъ воротникомъ и необыкновенно щегольскихъ офицерскихъ сапогахъ. Блѣдное кошачье лицо его съ желтыми усами было оживлено быстрой ѣздой, бѣлесые глаза расширены. Онъ глянулъ — и бѣгомъ кинулся ко мнѣ.

— Никололай Николаевичъ, вы? — слегка задохнувшись, быстро спросилъ онъ меня и до глазъ залился алымъ румянцемъ.

И, не давъ мнѣ отвѣтить и мучительно заикнувшись, прибавилъ:

— Йя Костинъ — Дозорный... И ннаслышанъ про васъ... Такъ что ужъ — простите!

И обернувшись къ двумъ башкирамъ, съ винтовками въ рукахъ сидѣвшихъ на машинѣ, крикнулъ, вбѣгая въ подѣздъ:

— Въ ссадъ!

Меня скорымъ шагомъ, даже не обыскавъ, провели черезъ площадь въ садъ, а черезъ садъ — къ обрыву надъ рѣчными оврагами и крикнули:

— Задомъ къ рѣчкѣ!

Я сталъ и, мгновенно выхвативъ револьверъ изъ кармана зипуна, въ упоръ ударилъ въ нагайскую рожу, стоявшую слѣва, и тотчасъ — же задомъ упалъ съ обрыва. Вторая рожка выстрѣлила по мнѣ, потомъ сдуру кинулась назадъ, за подмогой. Я сломалъ себѣ руку, а все таки ушелъ.

## МУХИ.

Прокофій лежитъ на нарахъ подъ палатами уже третій годъ: отнялись, высохли ноги.

Деревня въ завалѣ, по косорогамъ надъ оврагами. Мѣста глухія, Богомъ забытыя. Да еще рабочая пора. Окрестныя поля, усѣянныя копнами, голы и желты, похожи на песчаную пустыню, а въ деревнѣ ни души, только старики и дѣти. Нагоняя дремоту, поютъ пѣтужи. Скучно, какъ тоскующій нѣмой, мычитъ на выгонѣ теленокъ. Въ тѣни отъ пунекъ дремлютъ, смахивая съ ушей мухъ, собаки. На порогахъ жаркихъ избъ попискиваютъ, поклевываютъ циплята. Тускло печетъ солнце, и съ востока, изъ - за покатыхъ полей, все собирается, синѣетъ и все ничѣмъ не разрѣшается молчаливая тучка.

И день за днемъ лежитъ онъ въ этой тишинѣ и скукѣ. Былъ я у него въ прошломъ году въ эту же пору, былъ нынѣшней весной и вотъ опять заѣхалъ. Все то же: въ избѣ полутемно, жарко, на столѣ хлѣбы, прикрытые рванымъ армякомъ; на этомъ армякѣ, на стеклахъ и по стѣнамъ кипятъ несмѣтныя мухи, — просто все черно отъ мухъ, — а онъ лежитъ на нарахъ, головой къ боку печки, до пояса прикрытый старой пѣгой попоной, и, усмѣхаясь, курить трубку. Посасываетъ и усмѣхается. Подъ попоной—его неподвижныя ноги. Онѣ такъ противоестественно тонки, такъ не-



пріятны и страшны даже черезъ полосатыя портки, что я поспѣшилъ отвести глаза, когда онъ откинулъ попону и показалъ мнѣ ихъ. А онъ еще пошутилъ:

— Посмотрите - ка, что дѣлается! Не ноги, а колючки! Хоть кружево плети!

Я сижу возлѣ нарѣ на перевернутомъ ведрѣ, кручу папирску и думаю о томъ, что вотъ черезъ полчаса я уѣду, а онъ опять останется въ этой избѣ, опять будетъ лежать да смотрѣть на противоположную стѣну, на черныя доски палатей, висящихъ надъ нимъ. Я ужасаюсь при одной мысли о такомъ существованіи, а онъ лежитъ себѣ какъ ни въ чемъ не бывало и даже болѣе того, — чувствуетъ себя, видимо, прекрасно. Что это такое? Знаменитое русское терпѣніе? Восточная покорность судьбѣ? Святость? Нѣтъ, все не то. Ничего святого въ его лицѣ нѣтъ, — обыкновенное лицо мужика среднихъ лѣтъ, поражающее только ясностью и бодростью глазъ. И онъ усмѣхается и говоритъ:

— Вѣрите - ли, — когда меня переносятъ на коникъ, чтобы, значить, тутъ перестлать, оправить, мнѣ самому чудно глядѣть на эти ноги, до того они маленькія, ребячьи. Главное дѣло, волочатся совсѣмъ какъ чужія..

Мнѣ нестерпимо даже думать объ этихъ ногахъ. А онъ сосетъ трубку и, отмахиваясь отъ мухъ, откидывая со лба длинныя волосы, шутить и надъ волосами:

— Ишь, обросъ! Хоть въ архирей постригай!

Чтобы переменить разговоръ, я говорю:

— Ну и мухъ у васъ, Прокофій!

Онъ необыкновенно оживленно подхватываетъ:

— Мухъ? Содомъ! Я ихъ съ утра до вечера мну, великія тысячи помялъ. Плюну на стѣну, онъ насы-

дуть роемъ, а я ихъ и мну. Палкой. Такъ сбоку меня и лежить.

И онъ шарить правой рукой по постели и радостно показываетъ мнѣ толстую точно смолой вымазанную палку. Въ смолѣ и стѣна: вся въ мушиномъ тѣстѣ.

— Да что - жь, — говоритъ онъ, — не будь ихъ, что бы я могъ дѣлать? А тутъ весь день занять.

— Ну, а еще что - жь ты дѣлаешь?

— А что - жь еще? Да ничего. Лежу, курю, думаю.

— О чемъ?

— Да, конечно, такъ, пустяки, о чемъ придется. Объ хозяйству мало теперь сталъ думать. Придутъ съ поля, начнутъ рассказывать, а я какъ - то безъ вниманія. Нужды у насъ, сами знаете, нѣту, ну, и не думается. Думаю больше о прежнемъ, когда здоровый, молодой былъ.

— Ахъ, Прокофій, — говорю я, не выдержавъ, — все таки какъ это ужасно то, что случилось съ тобой!

Но онъ спокойно и бодро глядитъ мнѣ въ глаза и спокойно, не вынимая трубки изо рта, отвѣчаетъ:

— Нѣтъ, баринъ, это только мнѣніе. Это вамъ только такъ кажется по вашему здоровью. А захворали бы не хуже меня, что - жь бы вы сдѣлали? Лежали бы себѣ да лежали. Здоровому, понятно, думается утѣшить себя разными разностями, побогаче стать, передъ людьми погордиться, а легъ — и мухамъ радъ. Вы вотъ нарвите какъ бы что придумать получше, а я какъ бы побольше мухъ помять. И все одна честь, одно удовольствіе. И смерть то - же самое. Кабы она ужъ правда была такъ страшна, никто и не умиралъ бы, никогда бы Господь такой муки не допустилъ. Нѣтъ, это только одно мнѣніе...

Черезъ полчаса я прощаюсь съ нимъ, выхожу изъ

избы и сажусь на лошадь со страннымъ чувствомъ какой - то глупой легкости ко всему окружающему. А можетъ быть, и въ самомъ дѣлѣ все хорошо, все слава Богу и довольствоваться, радоваться можно и впрямь очень малымъ? Какъ пріятно, напрімѣръ, поставить ногу въ стремя, нажать на него и, перекинувъ другую ногу черезъ сѣдло, почувствовать подъ собою его скользкую кожу и живое движеніе сильной молодой лошади! Тронувъ поводъ, я крупнымъ шагомъ ѣду по выгону. Затихло въ деревнѣ еще больше. Даже пѣтухи смолкли и теленокъ лежитъ и дремлетъ, прикрывъ свои бѣлыя рѣсницы. Ёду вдоль пустыхъ, съ раскрытыми дверями избъ, мимо ихъ жарко блестящихъ противъ предвечерняго солнца оконъ, поворачиваю за уголъ крайней избы, поднимаюсь проселкомъ, среди желтыхъ жнивій, на изволокъ, въ степь... Вотъ уже потянуло навстрѣчу сухимъ и сладкимъ вѣтеркомъ и открывается впереди безконечная равнина, далекіе горизонты іюльскихъ полей, пустынная песчаная желтизна которыхъ переходитъ въ чуть видныхъ даляхъ въ нѣчто прелестное и манящее, смутно - сиреневое... Хорошо!

Да, а Прокофій лежитъ, и у него свои радости. Когда я всталъ, покидая его, вѣроятно, еще на годъ, онъ просто и весело подалъ мнѣ руку и пожалъ ее. И пожалъ совсѣмъ не по - прежнему, совсѣмъ не такъ, какъ бывало: не одними концами пальцевъ, бывшихъ прежде не гибкими и корявыми, не съ мужицкой неловкостью и несмѣлостью, а всей дланью, съ пріятной и дружеской силой и, главное, совсѣмъ какъ равный равному. И, кажется, это больше всего поразило меня, больше всего дало почувствовать, до чего онъ все таки тѣлесно и душевно переродился, до чего преобразили его эти годы, эти долгіе дни одинокаго

лежанья подъ палатами и сокровенныя мысли, соединенныя съ непрестанной забавой истребленія мухъ, перешедшей уже въ чисто охотничью страсть, почти въ цѣль жизни: вотъ, молъ, завтра, Богъ дастъ, проснусь, и опять пошла работа. Странная работа и странныя мысли! Давить, мнеть мушинные рои — и со спокойной таинственностью созидаетъ въ глубинѣ своего существа какую - то страшную, а вмѣстѣ съ тѣмъ радостную мудрость... Мудрость - ли это, или же просто какой - то ясноокій идиотизмъ? Блаженство нищихъ духомъ, или безразличіе отчаянія?

Ничего не понимаю, ѣду и смотрю въ даль.

9. VI. 24.

## КРАСНЫЙ ГЕНЕРАЛЪ.

*Разсказъ Н. Н.*

Одна изъ вечернихъ прогулокъ...

Ясный апрѣльскій закатъ, низкое чистое солнце, еще не набитый сѣрый проселокъ, весенняя нагота полей, впереди еще голый зеленоватый лѣсъ. Ёду на него, — куда глаза глядятъ, — спокойно и распушено сидя въ сѣдлѣ.

Отъ перекрестка беру къ лѣсу цѣликомъ, по широкой межѣ, по грани среди жнивья. Она вся зеленая, но еще по весеннему мягкая, — чувствуется, какъ вдавливается въ нее копыто. А возлѣ лѣса, на жнивьѣ подъ опушкой, еще тянется длинный островокъ нечистаго и затвердѣвшаго снѣга. И ярко - голубые подснѣжки, — самый прелестный, самый милый въ мѣрѣ цвѣтокъ, — пробиваются изъ коричневой, внизу гнѣющей, влажной, а сверху сухой листвы, густо покрывающей опушку. Листва шумно шуршитъ подъ копытами, когда я въѣзжаю въ лѣсъ, и нѣтъ ничего радостнѣе этого напоминанія о прошлой осени въ соединеніи съ чувствомъ весны.

Шуршитъ и лѣсная дорога, — она тоже вся подъ листвою, — и далеко слышно это шуршанье по лѣсу, еще сквозному, раскрытому, а все таки уже не зим-

нему. Лѣсъ молчить, но это молчаніе не прежнее, а живое, ждущее. Солнце сѣло, но вечеръ свѣтлый, долгій. И Тамара чувствуетъ всю эту весеннюю прелесть не меньше меня, — она идетъ особенно легко, поднявъ шею и глядя впередъ, въ далеко видную и еще просторную сѣроватую чащу стволовъ, кругами идущихъ намъ навстрѣчу, выглядывающихъ другъ изъ - за друга. Внезапно, какъ колъ, свалилась со старой осины мохнатая совка, плавно метнулась и съ размаху сѣла на березовый пень, — просыпаясь, дернула ушастой головкой и уже зрячимъ окомъ глянула кругомъ: здравствуй, моль, лѣсъ, здравствуй, вечеръ, даже и я теперь не та, что прежде, готова къ веснѣ и любви! И какъ бы одобряя ее, на весь лѣсъ раскатился гдѣ - то близко торжествующимъ цоканьемъ и трескомъ соловей. А подъ старыми березами, сквозящими своей кружевной наготой на сѣроватомъ, но легкомъ и глубокомъ вечернемъ небѣ, уже торчатъ тугія и острыя глянцевито - темнозеленыя трубки ландышей.

Переѣзжая низы, смотрю вправо, вдоль оврага, густо заросшаго грифельнымъ безлиственнымъ осинникомъ, — тамъ за лѣсомъ нѣжно, слабо разлился погожій закатъ. По дну оврага, среди темной чащи, среди подсѣда орѣшниковъ, падаетъ съ уступа на уступъ, журчитъ и холодно булькаетъ еще не изсякшій паводокъ. Самый вальдшнепиный притонъ этотъ оврагъ! Потомъ, все такъ - же шумно нарушая весеннюю тишину лѣса шуршаніемъ копытъ въ листьѣ, поднимаюсь по лѣсной дорогѣ въ гору, по глубокимъ глинистымъ колеямъ, промытымъ половодьемъ. Потомъ ѣду по широкимъ полянамъ, гдѣ стоятъ, красуются, въ отдаленіи другъ отъ друга, вѣковые вѣтвистые дубы.

Широчайшая плотина лежит между двумя великолѣпными прудами, молчаливо отражающими въ своихъ зеркалахъ эти дубы и вечернее небо. А за прудами начинается огромное пепелище Дубровки, — запущенные остатки безконечнаго фруктоваго сада, разрушенныхъ службъ, отъ которыхъ мѣстами уцѣлѣли только груды кирпичей, заросшихъ бурьяномъ, — и на половину вырубленная аллея столѣтнихъ топей ведетъ на обширный дворъ. Прежде cadaго ѣдущаго по этой аллеѣ издалека встрѣчалъ страшный, гремящій по всему окрестному лѣсу лай знаменитыхъ дубровскихъ овчарокъ. Теперь я ѣду среди мертвой тишины. Направо и налево — все яблони и яблони, старыя, раскидистыя, приземистыя. Венера на свѣтломъ западѣ такъ великолѣпна, что на землѣ подъ яблонями отъ нея серебрится. И бѣлѣетъ впереди, на пустынномъ дворѣ, небольшой домикъ подъ тесовой крышей: это прежняя господская контора, въ которой и живетъ теперь наслѣдникъ Дубровки.

Дворъ передъ конторой переходитъ прямо въ поле, сливается съ равниной, за которой прозрачно алѣетъ на горизонтѣ луна. И хозяинъ стоитъ на крыльцѣ, курить и исподлобья смотреть на нее. Приподнявъ картузь, я хочу повернуть въ поле, но, завидѣвъ меня, онъ поднимаетъ руку:

— Halte! Штрафъ за проѣздъ черезъ чужія владѣнія! Стаканъ чаю!

Дѣлать нечего, — притворно улыбаясь, придерживаю Тамару, отъ чаю отказываюсь, но все таки слѣзаю съ сѣдла, и Тамара идетъ по двору къ водопойному корыту, а мы направляемся навстрѣчу другъ другу.

— Bonsoir, mon cher voisin, comment allez - vous?  
— говорить хозяинъ. — Une petite promenade? Вотъ

и я тоже, — стою и люблюсь красотами природы, какъ Марій на развалинахъ Кареагена...

Ему лѣтъ тридцать, онъ очень худъ, темень лицомъ, давно небрить, у него стоячіе черно - агатовые глаза и страшно черная (коротко стриженная) голова подъ военнымъ картузомъ безъ кокарды. Онъ въ старыхъ валенкахъ, въ рейтузахъ и въ длинномъ сѣромъ пиджакѣ поверхъ грязной косоворотки. И онъ крѣпко жметъ мнѣ руку и ведетъ меня въ домъ, говоря, что самоваръ все равно готовъ и что онъ сейчасъ прикажетъ дать корму Тамарѣ.

— А вы хоть папиросу выкурите, — говорить онъ, — я, откровенно сказать, погибаю отъ скуки... Je ne sais pas comment je ne suis pas mort encore среди этой пастушеской идилліи...

Темныя сѣни отдѣляютъ бывшую контору отъ кухни. Дверь кухни открыта, и видно, что кухня полна дыма. Барышня лѣтъ пятнадцати, съ двумя свѣтлыми жидкими косами на спинѣ, въ легкомъ ситцевомъ халатикѣ и стоптанныхъ мужскихъ туфляхъ, надѣваетъ трубу на самоваръ, изъ котораго и валитъ этотъ дымъ, необыкновенно густыми палевыми клубами.

— Vite, vite, Berthe! — кричитъ хозяинъ и вводитъ меня въ комнаты, безъ умолку продолжая говорить:

— C'est la fille de ma femme... то есть бывшей, конечно... Вы у меня тысячу лѣтъ не были, но, разумѣется, всю эту исторію отъ досужихъ сосѣдей уже слышали... Эту дѣвицу моя благовѣрная прикинула мнѣ въ наслѣдство... Dame! Я ничуть не въ претензіи, — прекрасной компенсаціей служить то, что мудрый нѣмецкій Богъ надоумилъ таки ее наконецъ сбѣжать отъ меня. Вы вѣдь знаете, болѣе нелѣпой



женитьбы, чѣмъ моя, самъ Мефистофель не могъ бы придумать... Чортъ знаетъ, гдѣ, — въ какомъ - то Ревелѣ, — чортъ знаетъ, почему... *Vrai, je ne sais pas comment cela m'est arrivé...* Попалъ въ циркъ, увидаль рыжую наѣздницу, — и, замѣтте, далеко не первой молодости, — и черезъ недѣлю женатъ... Глупо до восхищенія, до *pes plus ultra!*

Комнатъ всего двѣ, — «salon» и «chambre à coucher», какъ иронически говоритъ хозяинъ, вводя меня и извиняясь за ихъ «лирической безпорядокъ». «Салонъ» раздѣленъ деревянной перегородкой, за которой живетъ барышня. Въ спальнѣ большая, не по комнатѣ, кровать краснаго дерева, покрытая мѣщанскимъ одѣяломъ изъ разноцвѣтныхъ лоскутовъ, на одѣялѣ валяется балалайка. Въ «салонѣ» стопудовый кожаный диванъ, изъ котораго торчатъ клоки мочалы и горбами выпираютъ пружины, въ простѣнкѣ дивное овальное зеркало, а подъ зеркаломъ — грузный письменный столъ, на зеленомъ сукнѣ котораго стоитъ недопитый стаканъ молока и лежатъ огрызки сѣрыхъ лепешекъ, счеты, махорка въ надорванномъ пакетикѣ и ржавая конская подкова. Въ комнатахъ сумерки, — окна ихъ глядятъ на востокъ, въ поле. Входимъ, садимся, — хозяинъ въ кресло возлѣ стола, а я на диванъ, — и принимаемся вертѣть папиросы. Выдумывать разговора не надо, — хозяинъ ни на минуту не прекращаетъ своей отрывистой скороговорки:

— Не хотите ли свернуть изъ моего антрацита? Впрочемъ, не неволю, это, знаете, дѣйствительно, на любителя! *C'est affreux*, но что - же дѣлать? А я, какъ видите, во всей усадьбѣ соло. Распустилъ кабинетъ. Остался одинъ работникъ, — анекдотическій болванъ! Вообразилъ себя моимъ закадычнымъ дру-

гомъ и по сему случаю пьянствуетъ безъ просыпу. Вотъ и сейчасъ дрыхнетъ и угадайте, гдѣ? Вотъ за этой перегородкой! Терплю, — времена демократическія! А все таки и его придется прогнать. И вообще — охъ ужъ мнѣ эти милые поселяне! Право, они только въ опереткахъ хороши. Я съ ними росъ, я самъ, можно сказать, на половину хамъ, полукровка, — вѣдь, какъ изволите знать, та раувре mère была всего на всего бѣглая дворовая дѣвка, — но, позвольте спросить, что у меня съ ними общаго? Хозяйство? Но какое къ черту хозяйство при такомъ бамбуковомъ положеніи? Кромѣ того лично для меня это совершенно сто двадцать пять буквъ китайской грамоты! Вы скажете, зачѣмъ - же я въ такомъ случаѣ сижу на этомъ Чортовомъ Островѣ, почему не продолжаю служить? Но какъ служить, не имѣя средствъ? Быть въ полку паріемъ? — Да, но позвольте! Про лошадь - то вашу мы совсѣмъ забыли! Надо приказать дать ей корму...

Я знаю, что корму нѣтъ, — есть только гнилая солома, которую Тамара все равно не станетъ ѣсть, — и мнѣ уже очень хочется уѣхать. Я благодарю хозяина за радушіе и прошу прощенія, говорю, что, къ сожалѣнію, долженъ сейчасъ проститься, что не стоитъ беспокоиться, что я далъ слово быть къ ужину дома. Но онъ не слушаетъ, проситъ выкурить еще одну папиросу и, забывъ о кормѣ, опять пускается въ бесѣду. И я опять курю и опять слушаю, какъ вдругъ онъ снова тревожно вспоминаетъ о Тamarѣ:

— Да нѣтъ, какъ хотите, а ей надо хоть клочъ соломы бросить! Митька! Ты тутъ? — кричитъ онъ, оборачиваясь къ перегородкѣ.

Изъ - за перегородки слышенъ сонный, медлительный голосъ:

— Ту - та. Я ля - жу.

— Вставай, поди уברי лошадь, — гость приѣхаль.

— Я пья - най...

— Я тебѣ говорю вставай!

— Вин - ца прежде да - ай...

— Каково ископаемое? — говоритъ хозяинъ съ торжествующей усмѣшкой, и кричить въ сѣни, въ открытую дверь:

— Berthe, дай Митькѣ стаканъ водки! А васъ, mon cher voisin, покорнѣйше прошу полюбоваться на это животное!

И онъ встаетъ и широко открываетъ створчатыя двери перегородки. Я заглядываю: за перегородкой свѣтлѣе, тамъ окошечко выходитъ на западъ, и хорошо видно лежащаго внизъ лицомъ на желѣзной кровати малаго съ бѣлыми волосами, съ большимъ мягкимъ задомъ, въ новой розовой смятой рубахѣ, подпоясанной почти подъ мышки зеленымъ поясомъ.

— Полюбуйтесь! — говоритъ хозяинъ. — Какого вамъ еще больше равенства?

А по салону, нагнувъ голову, не глядя на меня, быстро проходитъ къ шкапчику барышня, очевидно, за водкой. Тогда я говорю хозяину уже совсѣмъ рѣшительно:

— Нѣтъ, дорогой, оставьте его въ покоѣ. Я все равно долженъ сейчасъ ѣхать. Простите, пожалуйста, приѣду, если позволите, въ другой разъ...

И хозяинъ наконецъ сдается:

— Allons, bon! Не хочу разыгрывать демьянову уху! Но пройдемся хоть по саду. Скука въ эти безконечные вечера, повторяю, адова!

И мы выходимъ изъ дому, обходимъ его и идемъ по широкой дорожкѣ между яблонями на тонкій свѣтъ

позеленѣвшаго заката и на низкую играющую розовымъ огнемъ Венеру. Хозяинъ разглядываетъ мой високъ и усмѣхается:

— Однако, мы съ вами конкурируемъ въ сѣдинѣ! Ну да не бѣда, сѣдые бобры дороже! Вотъ развѣ женскій вопросъ... Впрочемъ, тутъ Елень Прекрасныхъ мало. Какая нибудь «идейная» сельская учительница? Сбитые каблуки, потныя отъ застѣнчивости руки... Вообще, не выношу провинціальныхъ дѣвицъ! И фразы - то у нихъ у всѣхъ трафаретныя: «Ну какъ вамъ нравится нашъ городъ? Видѣли наши достопримѣчательности?» — Есть, впрочемъ, здѣсь одна въ моемъ жанрѣ — и, вообразите, кто? — дочь станового! Ножка узенькая, прелестныя сильныя икры, въ глазахъ этакое кашэ... *Je lui plais, j'ep suis certain... Je parie qu'elle tomberait volontiers dans mes bras,* если, конечно, повести правильную осаду... *C'est une affaire de huit jours...* Я вамъ покажу ее, если скоропостижно не сбѣгу въ Петербургъ, заложивъ чорту хотя бы душу. На меня нападаетъ здѣсь форменный страхъ смерти, а вѣдь вы знаете, что у меня порокъ сердца, острая неврастенія и прочая, прочая... Въ Петербургѣ, если и подохнешь внезапно, все легче. Я уже завѣщаль похоронить меня непременно на Балтійскомъ вокзалѣ. Если бы вы знали, сколько воспоминаній связано у меня съ этимъ вокзаломъ!

Темнѣеть. Венера переливается на горизонтѣ за темной равниной уже пурпурнымъ огнемъ. Слабо обозначаются тѣни подъ яблонями, — луна за домомъ уже свѣтитъ, — и уже совсѣмъ свѣжо пахнетъ весенней землей. Вдали стонетъ пустошка, — стонетъ грустно, нѣжно и звонко, — хорошо ей въ свѣжести и тишинѣ апрѣльской ночи въ этомъ старомъ фруктовомъ

саду, выходящемъ прямо въ поле! А хозяинъ говорить, говорить:

— Теперь единственная радость моей жизни — мой еще не законченный романъ, начавшійся годъ тому назадъ въ Царскомъ Селѣ... Ахъ, если бы вы знали, что это за женщина! Она замужемъ за нашимъ полковымъ командиромъ... Такой милый стариканъ, прелесть! Недавно переведенъ въ Литовскій полкъ, въ Нарву... Она мнѣ часто говоритъ: «Ah! si mon mari mourait! Que j'aimerais passer avec toi toute une nuit, m'endormir dans tes bras et me reveiller le lendemain sous tes baisers!» — Я зналъ еще ея отца, дѣйствительный статскій совѣтникъ, но не симпатичный, сухой человѣкъ! Мы съ ней переписываемся. Достаточно одной телеграммы — и она мгновенно будетъ тутъ. Но вы сами понимаете — могу ли я вызывать ее сюда, въ эту хижину дяди Тома!

Мы возвращаемся во дворъ и медленно идемъ къ Тamarѣ. Уже лунная ночь, уже луна поднялась надъ полемъ, и Тамара въ ея свѣтѣ стоитъ вдали чернымъ силуэтомъ, а подушка сѣдла, торчащаго на Тamarѣ, блеститъ.

— Сколько она крови мнѣ перепортила, ужась! — говоритъ хозяинъ съ восторгомъ. — Но зато сколько блаженныхъ минутъ! Отдалась безумно, дерзко. Однажды, понимаете, у нихъ званый вечеръ, я приѣзжаю раньше всѣхъ, даже еще и мужа нѣтъ, она одна въ пустой гостиной — и... Elle ne songeait même pas qu'elle était en toilette qui risquait de se froisser... Сразу, понимаете: «Je t'aime! Fais de moi ce que tu veux! Je me moque de tout!» Вообще, чертъ знаетъ что, звѣриная страсть! А потомъ, конечно, сцены: «Tu ne m'estimes plus, je me suis donnée à toi trop spontanément!» — и бѣшенная ревность, хва-

танье за руки: «Tu es à moi, n'est - ce pas, n'est - ce pas?»

Тамара повернула голову при нашемъ приближеніи и тихонько радостно заржала, — очень соскучилась. Я пожалъ хозяину руку, сѣлъ и, обернувшись, помахалъ ему картузомъ. Онъ порывисто, поспѣшно затрясъ поднятой рукой. И Тамара сразу взяла полной рысью, прямо на луну, на свѣтлое поле, четко дробя копытами въ чистомъ и свѣжемъ воздухѣ...

---

Какимъ далекимъ кажется мнѣ теперь этотъ весенній вечеръ! Я вспоминаю его съ разительной живостью, стоя подъ зимнимъ дождемъ на константинопольской улицѣ и предлагая проходящимъ купить газету. Въ этой газетѣ я недавно прочелъ о большихъ успѣхахъ по службѣ нѣкоего «бывшаго царскаго офицера», а нынѣ краснаго генерала, моего «дорогого сосѣда» изъ Дубровки.

13. VI. 24.

## ЛАПТИ.

Пятый день несло непроглядной вьюгой. Въ бѣломъ и холодномъ хуторскомъ домѣ стоялъ блѣдный сумракъ и было большое горе: былъ тяжело боленъ ребенокъ. И въ жару, въ бреду онъ часто плакалъ и все просилъ дать ему какіе-то красные лапти. И мать, не отходящая отъ постели, гдѣ онъ лежалъ, тоже плакала горькими слезами, — отъ страха и отъ своей беспомощности. Что сдѣлать, чѣмъ помочь? Мужъ въ отъѣздѣ, лошади плохія, а до больницы, до доктора тридцать верстъ, да и не поѣдетъ никакой докторъ въ такую страсть...

Стукнуло въ прихожей, — Нефедъ принесъ соломы на топку, свалилъ ее на полъ, отдуваясь, утираясь, дыша холодомъ и вьюжной свѣжестью, пріотворилъ дверь, заглянулъ:

— Ну что, барыня, какъ? Не полегчало?

— Куда тамъ, Нефедушка! Вѣрно, и не выживетъ!

И голосъ осѣкся и опять въ слезы. Потомъ шопотомъ:

— Всю душу вынулъ... Все какіе-то красные лапти просить...

— Лапти? Что за лапти такіе?

— А Господь его знает... Бредить, конечно, весь огнемъ горить...

Мотнулъ шапкой, задумался. Шапка, борода, старый полушубокъ, разбитые валенки, — все въ снѣгу, все обмерзло... И вдругъ совсѣмъ неожиданно и твердо:

— Значить, надо добывать. Значить, душа желаетъ. Надо добывать.

— Какъ добывать? Откуда?

— Въ Новоселки, на деревню итти. Въ лавку. Покрасить фуксиномъ не хитрое дѣло.

— Богъ съ тобой, до Новоселокъ шесть верстъ! Гдѣ-жъ въ такой ужасъ дойти!

Еще подумаль.

— Нѣтъ, пойду. Ничего, пойду. Доѣхать не доѣдешь, а пѣшкомъ, можетъ, ничего. Она будетъ мнѣ въ задъ, пыль-то...

И, притворивъ дверь, ушелъ. А на кухнѣ, ни слова не говоря, натянулъ зипунъ поверхъ полушубка, туго подпоясался старой подпояской, взялъ въ руки кнутъ и вышелъ вонъ, пошелъ, утопая по сугробамъ, черезъ дворъ, выбрался за ворота и потонулъ въ бѣломъ, куда-то бѣшено несущемся степномъ морѣ.

Пообѣдали, стало смеркаться, смерклось — Нефеда не было. Рѣшили, что, значить, ночевать остался, если Богъ донесъ. Обыденкой въ такую погоду не вернешься. Надо ждать завтра не раньше обѣда... Но оттого, что его все таки не было, ночь была еще страшнѣе. Весь домъ гудѣлъ, ужасала одна мысль, что теперь тамъ, въ полѣ, въ безднѣ снѣжнаго урагана и мрака. Сальная свѣча пылала дрожащимъ хмурымъ пламенемъ. Мать поставила ее на полъ, за отвалъ кровати Ребенокъ лежалъ въ тѣни, но стѣна казалась ему огненной и вся бѣжала причудливыми, несказанно великолѣпными и грозными видѣніями. А порой онъ какъ



будто приходилъ въ себя и тотчасъ же начиналъ горько и жалобно плакать, умоляя (и какъ будто вполне разумно) дать ему красные лапти:

— Мамочка, дай! Мамочка дорогая, ну что тебѣ стоять!

И мать кидалась на колѣни и била себя въ грудь:

— Господи, помоги! Господи, защити!

А когда наконецъ разсвѣло, послышалось подъ окнами сквозь гулъ и грохотъ вьюги уже совсѣмъ явственно, совсѣмъ не такъ, какъ всю ночь мерещилось, что кто-то подѣхалъ, что раздаются чьи-то глухіе голоса, а затѣмъ торопливый, зловѣщій стукъ въ окно.

Это были новосельскіе мужики, привезшіе мертвое тѣло, — бѣлаго, мерзлаго, всего забитаго снѣгомъ, навзничъ лежавшаго въ розвальняхъ Нефеда. Мужики ѣхали изъ города, сами всю ночь плутали, а на разсвѣтъ свалились въ какіе-то луга, потонули вмѣстѣ съ лошадыю въ страшный снѣгъ и совсѣмъ было отчаялись, рѣшили пропадать, какъ вдругъ увидали торчащія изъ снѣга чьи-то ноги въ валенкахъ. Кинулись разгрѣбать снѣгъ, подняли тѣло — оказывается, знакомый человѣкъ...

Тѣмъ только и спаслись — поняли, что, значить, эти луга хуторскіе, протасовскіе, и что на горѣ, въ двухъ шагахъ, жилье...

За пазухой Нефеда лежали новенькіе ребячьи лапти и пузырекъ съ фуксиномъ.

22. VI. 24.

## СЛАВА.

— Нѣтъ-съ, сударь мой, русская слава вещь хитрая! До того хитрая, что объ ней слѣдовало-бы цѣлое изслѣдованіе написать. Тутъ, по моему, даже одинъ изъ ключей ко всей русской исторіи. И вообще, вы меня простите, вы еще молодо-зелено. Вы лучше слушайте мое готовое. Я въ свободное время очковъ не снимаю, сорокъ лѣтъ сохну надъ книгами, да и жизненный опытъ нѣкоторый имѣю, съ любымъ Ключевскимъ могу кое въ чемъ потягаться, — вы на то не глядите, что передъ вами второсортный букинистъ. А ужъ про этихъ Божьихъ людей и говорить нечего. Это даже моя специальность. Да вотъ вамъ нѣсколько фигуръ изъ этой галлерей, и фигуръ не какихъ-нибудь баснословныхъ, незапамятныхъ, а совершенно достовѣрныхъ, современныхъ мнѣ.

— Вотъ вамъ, на примѣръ, Мужикъ Борода. Былъ онъ воронежскій. Много лѣтъ пребывалъ въ сравнительной безвѣстности. Какъ вдругъ счастливый случай. Пропадаетъ въ одно прекрасное утро у одного заштатнаго полковника орѣховая шкатулка. Полиція рыщетъ, съ ногъ сбивается — результату ни малѣйшаго. Что дѣлать? Кидаются въ слободу, къ знахарямъ — ими въ слободахъ подъ Воронежомъ, подъ Орломъ, подъ Курскомъ, подъ Тамбовомъ хоть прудъ пруди.

Входятъ въ одинъ домикъ и застаютъ цѣлую ассамблею: стоитъ десятка два бабъ и со слезами умиленія смотрятъ на угодника. А угодникъ кушаетъ чай. Накрѣтъ въ красномъ углу столъ, на столѣ кипитъ самоваръ, а за столомъ — благодушный мужикъ, подпоясанный дѣтскимъ розовымъ пояскомъ, и съ бородой во всю грудь: посматриваетъ исподлобья ясными глазами и не отрываясь хлебаетъ, да не изъ чашки, не изъ стакана, а прямо изъ полоскательницы. Допьетъ, вытретъ рукавомъ потъ съ лысаго лба, облизнется и опять шепоткомъ приказываетъ:

— Наливай послаже!

До того, понимаете, упарился, что даже шепчетъ. И передняя баба, самая видная и красивая, опрометью кидается къ столу, наливаетъ полоскательницу съ краями, наваливаетъ сахару и опять назадъ: стоитъ, плачетъ и смотреть. А онъ опять дуется, какъ телокъ.

— Что за человѣкъ?

— Божій человѣкъ, ваше благородіе. Чай кушаютъ, только и всего.

— Ты кто такой?

Отвѣчаетъ, ничуть не робѣя:

— Я-то? Мужикъ Борода. Чай люблю.

— Можешь одну кражу разгадать?

Схлебываетъ и этакой скороговоркой:

— Гадаю, милый, только на тощее сердце. До завтра, до утречка повремени.

На другой день забираютъ его съ раннего утра, ведутъ къ полковнику, заставляютъ гадать.

— Нѣтъ, говорить, такъ не годится. Родители учили не такъ. Помогитесь сперва надо. Молитесь. Всѣ молитесь.

Всѣ молятся: приставъ, квартальный, городовые, полковникъ и вся его семья, всѣ шесть дочерей. Даже

бабушку, и ту привели. Но послѣ молитвы оказывается, что гадать Мужикъ Борода — не умѣть. Выталкиваютъ, натурально, въ шею, но что-же вы думаете? Слава этого кретина начинается съ тѣхъ поръ расти не по днямъ, а по часамъ: за нимъ ходятъ уже толпами, осыпаютъ деньгами и прочими даяніями, богатѣйшіе купцы наперерывъ зазываютъ его къ себѣ съ земными поклонами. И онъ милостиво заходитъ, садится на самое почетное мѣсто и — опивается чаемъ. Пьетъ и командуетъ:

— Наливай послаже!

Вы не вѣрите? Думаете, что не можетъ-же быть, чтобы двадцать лѣтъ почитали, какъ икону, только за то, что можетъ человекъ ведерный самоваръ охолостить? Ну, молъ, пьетъ, да не въ этомъ-же все таки дѣло. Вѣроятно, хотъ изрѣдка чѣмъ-нибудь себя инымъ проявляетъ. Ну, на примѣръ, вретъ чтонибудь божественное, хотъ изъ приличія дурачить. Да нѣтъ же, ничего подобнаго! Только пьетъ и стяжаетъ славу! А ужъ осмыслить эту славу и слезы, съ коими взираютъ на ея носителя, предоставляю вашей собственной мудрости...

— Но пойдѣмъ далѣе. Вотъ вамъ нѣкій Федя, тоже воронежскій. Прозвище нѣсколько не благоуханное: Федя золотарь. Но слава опять таки громадная. Домикъ въ слободѣ, двое взрослыхъ дѣтей, сынъ и дочь, которые весьма дѣльно торгуютъ лавочкой. А папаша уже лѣтъ пятнадцать ходитъ по улицамъ. Темное безбородое лицо, неморгающіе темные глаза — и всегда молчить. То есть, вѣрнѣе сказать, только поетъ: вы его останавливаете, спрашиваете, а онъ претъ на васъ, глядитъ въ упоръ и деретъ на ходу что-нибудь изъ писанія. Голосъ прямо ужасный. Да и самъ ужасенъ: сальные волосы, босой, весь, конечно,

въ лохмотьяхъ, на головѣ желѣзный таганъ ножками вверхъ, — царская корона. Главное-же занятіе — въ нечистотахъ рыться: какъ только ударятъ ко всеобщей — онъ за городъ и до вечера роетъ тамъ палкой по оврагамъ, гдѣ золотари по ночамъ городское добро выливаютъ. Нароется до седьмого пота — и домой, ночевать. А еще что? А еще опять таки ничего! За что, спрашивается, его деньгами, булками и прочими дарами осыпаютъ? За что руки ловятъ и цѣлуютъ, да не только руки, а и палку вонючую? Не знаю-съ, не знаю-съ! Философствуйте опять таки сами — есть надъ чѣмъ. Безъ шутокъ говорю: есть надъ чѣмъ!

— Затѣмъ вспоминаю-съ Кирюшу Борисоглѣбскаго, Кирюшу Тульскаго, Ксенофонта Окаяннаго. Кирюша Борисоглѣбскій мужикъ изъ большого торговаго села подъ Борисоглѣбскомъ. Морда свѣжая, румяная. Окромялъ въ одинъ прекрасный день голову клоками, разулся, надѣлъ женскую юбку, взялъ въ руку ломъ и отличился въ городъ. Выбралъ большой праздникъ, Троицу — и прямо въ соборъ, къ обѣднѣ. Тамъ, понятно, на переднемъ мѣстѣ вся знать, всѣ чины градскіе въ полной парадной формѣ. Жара, духота, тѣснота невообразимая, солнце жарить прямо изъ купола, а березовая зелень на полу и по стѣнамъ вянетъ, покойникомъ душить. И вдругъ страшный коровій ревъ: врывается въ церковь Кирюша и съ коровьимъ ревомъ ломить сквозь толпу прямо къ амвону. Естественно, полицейскіе его за шиворотъ и назадъ, но дѣло уже сдѣлано — весь соборъ, а затѣмъ и весь городъ пораженъ и взволнованъ. А Кирюша, какъ прикинулся на Троицу коровой, такъ и остался на цѣлыхъ три года. Цѣлыхъ три года ходилъ нѣмымъ и ревелъ. Реветь, дуетъ трубой іерихонской и разными жемами пророчествуеть. Посуетъ пальцемъ въ кулакъ — къ свадьбѣ,

сложить крестомъ ручки — къ покойнику. А на четвертый годъ подсчиталь однажды выручку, увидаль, что капиталецъ составился уже кругленькій — и во-свояси. А тамъ домикъ себѣ построиль, палисадничекъ съ мальвами завель, ну и прочее тому подобное. Обыкновенный мошенникъ? Разумѣется. Ну, а слава-то? Вѣдь была-же она? Была, равно какъ и у прочихъ двухъ, мною вкупѣ съ этимъ Кирюшей упомянутыхъ, то есть у Кирюши Тульского и у Ксенофонта. Кирюша Тульскій былъ невеличекъ ростомъ и весьма благообразень, начитанъ въ Писаніи и сладкопѣвень. На груди, на сѣренькой поддевочкѣ, сумочка, а что въ ней — «смертному лучше и не заглядывать, любезныя сестры, вдовицы и мужатицы!» А Ксенофонть почему-то прозваль себя окаяннымъ. Молодой малый, рябой, длинный, наряженъ послушникомъ. И все юродство его заключалось только въ томъ, что шатался онъ по городу и пиль у мѣщанокъ и купчихъ чай непременно съ лампаднымъ масломъ. Опять скажете, простой жуликъ? Совершенно съ вами и на этотъ разъ согласень. У одного на груди таинственная сумочка, у другого лампадное масло, — только и всего. Однако, въ чемъ же секретъ? Ужели только въ сумочкѣ и маслѣ?

— Затѣмъ нарисую вамъ изъ числа подобныхъ-же, на первый взглядъ тоже какъ-будто весьма простыхъ фигуръ, еще парочку: Феодосія Хамовническаго и Петрушу Устюжскаго. Феодосію тоже однажды надо-ѣло быть обыкновеннымъ дворникомъ и онъ тоже однажды разулся, возложилъ на себя вериги, то есть по просту собачьей цѣпью обмотался, прихватиль въ подручные нѣкоего бродячаго Петрушу и пошелъ пророчествовать. Вы опять подумаете — значить, все таки хоть нѣкоторый даръ къ тому имѣль? Но опять я васъ разочарую: ничуть не бывало! Пророче-

ствовалъ онъ крайне бездарно и, главное, крайне небрежно, видъ-же имѣлъ самый не пророческій: обыкновенный лысый мужикъ лѣтъ сорока съ превеселыми и нахальными глазами. А Петруша былъ и того ординарнѣе. Видъ мелкотравчатый, умишка куриный, натура гаденькая и похотливая. Бабъ, дѣвъ иначе не называлъ, какъ вербочками, пѣночками, канареечками, и прожорливостью отличался прямо противоестественно. И особенно на молочную лапшу и на арбузы. Завидѣвъ арбузъ, весь трясся и кричалъ: «искушеніе, искушеніе, великое искушеніе!» — затѣмъ облапливалъ его, ставилъ на колѣни и выгребалъ пятерней до донушка. Вы еще разъ попытаетесь сказать, что плуты, молъ, не въ счетъ и что посему и эти два угодника должны быть оставлены нами въ покоѣ. Но, во первыхъ, я же и хотѣлъ сказать, сколь много среди нашихъ знаменитостей было и есть плутовъ и вырождковъ, а во вторыхъ, долженъ напомнить вамъ, что цѣль моя заключалась вовсе не въ томъ, чтобы ихъ обличать: я велъ совсѣмъ къ другому, къ тому, что мы, русичи, исконные поклонники плутовъ и вырождковъ и что эта наша истинно замѣчательная особенность, наша «бабская охота ко пророкамъ лживымъ» есть предметъ достойный величайшаго вниманія. А кромѣ того никакъ не могу согласиться, что, напримѣръ, Θεодосій и Петруша только плуты. Нѣтъ-съ, это въ нѣкоторыхъ отношеніяхъ люди удивительные. Вы только представьте себѣ всю ту веселѣйшую небрежность, безстыднѣйшую легкость, съ которой совершалъ свое земное странствіе вотъ этотъ самый Θεодосій среди прочихъ русичей, коихъ онъ всѣхъ поголовно, разъ и навсегда, счелъ совершеннѣйшими идиотами, счелъ, конечно, не умою, а, такъ сказать, всѣмъ естествомъ своимъ. Развѣ это не геніальность своего

рода? Но геніалень и Петруша. Здѣсь вы тоже должны представить себѣ нѣчто совершенно изъ ряда вонъ выходящее въ смыслѣ цѣльности ходячей ненасытной утробы, ея зоологической устремленности исключительно къ одной цѣли — къ лапшѣ, къ арбузу, къ канареечкамъ, къ лапушкамъ. Полагаю, что подобной первобытности, зоологичности вы нигдѣ, кромѣ русичей, не встрѣтите. И повѣрьте-сь—толпу-то и поражала (конечно, для нея самой невѣдомо) именно страшная сила этой зоологической цѣльности...

— Въ томъ-же родѣ былъ и знаменитый Иванъ Стапановичъ Лихачевъ. Этотъ былъ много лѣтъ лихачемъ-извозчикомъ — оттого и прозвали Лихачевымъ, — стоялъ въ Соболяхъ, — знаете, конечно, что это такое было, — цѣлый кварталъ бардаковъ, — а затѣмъ съ козелъ слѣзъ и преобразился въ бродячаго наставника святой жизни. Надѣлъ подрясникъ, бархатную скуфеечку — и пошелъ. Пророчески лысь не хуже Эзодосія и такъ-же благодушень. Говорить съ пошлѣйшимъ краснорѣчіемъ, читаетъ самыя избитыя нотаціи, а самъ, конечно, зорко посматриваетъ, сколько именно пятаковъ сердобольная дура изъ платочка развязываетъ. Сюжетъ, по моему, тоже на рѣдкость интересны! Тутъ, какъ видите, тоже обрѣлъ человѣкъ, стоя цѣлыми годами возлѣ бардаковъ, нѣкое замѣчательное возрѣніе на міръ, на жизнь и на людей!

— Затѣмъ — Ванюша Кувырокъ. Почему Кувырокъ? А потому, что кувыркался, ходилъ больше всего колесомъ. Изумительно! Могъ хоть пять, хоть десять верстъ пройти такимъ манеромъ. А къ этому прибавьте его ликъ: морщинистый мальчикъ лѣтъ сорока, съ хитренькими глазками и съ распущенными женскими волосами, впрочемъ, подрѣзанными, въ силу того, что ходить колесомъ съ длинными, конечно, неудобно.



Знаменить былъ, между прочимъ, тѣмъ, что совершилъ паломничество въ Кіевъ съ самой Матреной Макарьевой, Богородицей всѣхъ московскихъ юродицъ, и притомъ паломничество не простое, а въ нѣкоторомъ родѣ потрясающее: вообразите себѣ, что эта самая Матрена Макарьевна набрала въ Кіевѣ и повела за собой въ Москву цѣлыхъ сто душъ самыхъ что ни на есть отборныхъ по безобразію внѣшнему и внутреннему дурь и дураковъ! Волосы на головѣ, сударь мой, зашевелятся, какъ подумаешь, что это за орда шла со всяческимъ дреколіемъ въ рукахъ и въ подобающихъ ея сану одѣяніяхъ!

— И на этой картинѣ позвольте пока и закончить. Думаю, что на первый разъ довольно. Прибавлю еще только одного — Данилушку Коломенскаго. Этотъ вышелъ изъ семьи изувѣрски благочестивой, богатой и суровой, былъ единственнымъ сыномъ закоренѣлаго раскольника, начетчика и фанатика, и сталъ юродомъ съ ранняго отрочества: запустилъ волосы, — замѣтьте эту удивительную черту, страсть къ женскимъ волосамъ! — скинулъ портки, надѣлъ женскую рубаху, — опять таки женскую! — и сталъ обнаруживать свирѣпую жадность къ деньгамъ, къ игрѣ въ бабки и къ пляскѣ при видѣ покойниковъ. Былъ онъ необыкновенно красивъ мрачной восточной красотой, и близорукъ до того, что его иначе и не звали, какъ слѣпая срака, играль-же, однако, такъ, что вскорѣ прославился на весь уѣздъ, равнаго себѣ въ игрѣ не зналъ: могъ стать хоть за полверсты отъ кона и все таки съ одного маху срѣзать своей длинной рукой весь конь подъ гребенку. Играетъ, обыгрываетъ — и богатѣетъ. Бабки у него лежатъ уже цѣлыми мѣшками и битки имѣются такіе, что за любой изъ нихъ хорошій игрокъ, знатокъ дѣла, готовъ былъ бы у попа въ батракахъ

три года служить. Играетъ, копить добро, торгуетъ, мѣняетъ, а барыши гдѣ-то въ землю закапываетъ; закапываетъ и то, что набираетъ на похоронахъ, за свою пляску надъ покойниками. Довольно все странно, не правда-ли? Дикая дылда, мрачный красавецъ съ синими волосами по плечамъ, лѣто и зиму (даже въ самые трескучіе морозы) босой и въ одной рубахѣ — и изо дня въ день то играетъ, то бѣгаетъ на похороны. Играетъ — какъ будто вполне нормаленъ, только молчаніемъ да видомъ отличается отъ прочихъ, а какъ только прослышать, что въ слободѣ или въ городѣ покойникъ — рысью въ церковь, къ отпѣванію: врывается и до упаду бьется въ буйнѣйшей пляскѣ надъ гробомъ. Да что! Даже въ Москву бѣгаль, прослышавъ о смерти Семена Митрича, — освѣдомлены, вѣроятно, какова это среди юродовъ персона была? — и все затѣмъ, чтобы «отплясать его въ Царствіе Божіе», а за пляску потуже набить кису подаянїями потрясенной толпы. Киса у него всегда на груди висѣла, и можете себѣ представить, какъ она гремѣла и звенѣла пятаками при его неистовомъ скаканїи и вихляніи!

— А въ заключеніе — знаете, какъ онъ погибъ? Былъ звѣрски растерзанъ своими согражданами за поджогъ церкви. Давно уже шло въ слободѣ что-то странное: зачастили пожары, и совершенно неизвѣстно, почему. Оказалось, что это Данилушка работаль, что онъ новую страсть приобрѣлъ: поджигать. Отсюда и пошло: что ни ночь, то пожарище, и всегда на это пожарище первымъ является, несется въ пляскѣ Данилушка. Умирая, самъ признался:

— Хотѣлъ всю Коломну пустить огнемъ по-вѣтру, отплясать въ Царствіе Небесное...

## НАДПИСИ.

Вечеръ былъ прекрасный, и мы опять сидѣли подъ греческимъ куполомъ бесѣдки надъ обрывомъ, глядя на долину, на Рейнъ, на голубыя дали къ югу и низкое солнце на западъ. Наша дама поднесла лорнетъ къ глазамъ, посмотрѣла на колонны бесѣдки, — онѣ, конечно, сверху до низу покрыты надписями туристовъ — и сказала своимъ обычнымъ медлительно-презрительнымъ тономъ:

— Чувствительный нѣмецъ свято чтить эти узаконенныя путеводителями «мѣста съ прекраснымъ видомъ», *schöne Aussicht*. И считаетъ неперемѣннымъ долгомъ расписаться: былъ и любовался Фрицъ такой-то.

Старичокъ сенаторъ тотчасъ-же возразилъ:

— Но позвольте скромно замѣтить, что тутъ есть фамиліи и французскія, и англійскія, и русскія, и всякія иныя прочія.

— Все равно, — сказала дама. — Если есть, то тѣмъ хуже. Это какъ у Чехова: «Сію станцію проѣзжалъ Ивановъ седьмой». И совершенно справедливая резолюція слѣдующаго проѣзжаго: «Хоть ты и седьмой, а дуракъ!»

Всѣ мы засмѣялись и, вспоминая нѣкоторыя крымскія и кавказскія мѣста, особенно излюбленныя распи-

сывающимися Ивановыми, всѣ болѣе или менѣе блеснули остроуміемъ надъ путешествующимъ обывателемъ, а старичокъ пожалъ плечомъ и сказалъ:

— А я думаю господа, что ваше остроуміе надъ пошлостью этого обывателя гораздо пошлѣе, не говоря уже о вашемъ безсердечіи и — о лицемѣрїи, ибо кто-же изъ васъ тоже не расписывался въ томъ или другомъ мѣстѣ и въ той или иной формѣ? Расписывается (и будетъ расписываться во вѣки вѣковъ) вовсе не одинъ Фрицъ или Ивановъ. Все человѣчество страдаетъ этой слабостью. Вся земля покрыта нашими подписями, надписями и записями. А литература, а исторія? Вы думаете, что Гомеромъ, Толстымъ, Несторомъ руководили не тѣ же самыя побужденія, что и седьмымъ Ивановымъ? Тѣ-же самыя, увѣряю васъ.

— Охъ, сколь вы привержены къ парадоксамъ, ваше высокопревосходительство!— сказала дама.

Но старичокъ невозмутимо продолжалъ:

— Говорятъ, что человѣкъ есть говорящее животное. Нѣтъ, вѣрнѣе, человѣкъ есть животное пишущее. И количеству и разнообразію человѣческихъ надписей, — если ужъ говорить только о надписяхъ, — положительно нѣтъ числа. Однѣ вырѣзаны, выбиты, другія начертаны, нарисованы. Однѣ собственной рукой, другія рукой наслѣдниковъ, внуковъ, правнуковъ. Однѣ вчера, нынче, другія десять, сто лѣтъ тому назадъ или-же вѣка, тысячелѣтія. Онѣ то длинны, то кратки, то горды, то скромны, даже чрезмѣрно скромны, то пышны, то просты, то загадочны, то какъ нельзя болѣе точны, то безъ всякихъ датъ, то съ датами, говорящими не только о мѣсяцѣ и годѣ того или иного событія, но даже о числѣ, о часѣ; онѣ то пошлы, то изумительны по силѣ, глубинѣ, поэзіи, выраженной иногда въ какой-нибудь одной строкѣ, которая во сто

разъ цѣннѣе многихъ и многихъ такъ называемыхъ великихъ произведеній словесности. Въ концѣ же концовъ всѣ эти несмѣтные и столь другъ на друга непохожіе человѣческіе слѣды производятъ разительно одинаковое впечатлѣніе. Такъ что, если ужъ смѣяться, то слѣдуетъ смѣяться надо всѣми. Въ Римѣ въ тавернѣ написано: «Здѣсь ѣли и пили въ прошломъ столѣтіи писатель Гоголь и художникъ Ивановъ», — далеко не седьмой какъ изволите знать. А не сохранилось ли надписи на подоконникѣ въ Миргородѣ о томъ, что въ позапрошломъ столѣтіи нѣкто кушалъ однажды съ отмѣннымъ удовольствіемъ дыню? Весьма возможно. И, по моему, между этими двумя надписями нѣтъ ровно никакой разницы...

— Мнѣ вотъ сейчасъ пришло въ голову, — продолжалъ онъ: — гдѣ я на своемъ вѣку бывалъ и какія надписи видѣлъ? Оказывается, даже и счесть невозможно. Надписи перстнями на зеркалахъ въ отдѣльныхъ кабинетахъ ресторановъ. Надписи клинописью. Надписи на колоколѣ въ заштатномъ городѣ Чернавѣ, — имя, отчество и фамилія купца такой-то гильдіи, создателя сего колокола. Героглифы на обелискахъ, на развалинахъ Карнакскихъ капищъ. Надписи на триумфальныхъ цезарскихъ аркахъ. Каракули карандашемъ на голубцѣ возлѣ одного святого колодца въ непролазной глуши Керженскихъ лѣсовъ: «Поситили грѣшныи Ефимъ и Прасковья». Надписи сказочно-великолѣпной вязью въ мечети Омара, въ Айя-Софіи, въ Дамаскѣ, въ Каирѣ. Тысячи именъ и инициаловъ на старыхъ деревьяхъ и на скамейкахъ въ усадьбахъ и городахъ, въ Орлѣ и Кисловодскѣ, въ Царскомъ Селѣ и въ Ореандѣ, въ Нескучномъ и въ Версалѣ, въ Веймарѣ и Римѣ, въ Дрезденѣ и Палермо. Больше же всего, конечно, эпитафій. Гдѣ? Опять таки даже

счесть трудно. На деревянныхъ и каменныхъ крестахъ, на всяческихъ мавзолеяхъ, на гранитныхъ и сикоморовыхъ саркофагахъ, на пеленахъ мумій, на мѣдныхъ доскахъ, на желѣзныхъ плитахъ, на урнахъ и стеллахъ, на драгоценныхъ шаляхъ, покрывающихъ гробы халифовъ, на скользкихъ полахъ средневѣковыхъ соборовъ и на столбикахъ изъ песчаника. Я глядѣлъ на эти надгробные паспорта въ степяхъ и пустыняхъ, на чернавскомъ погостѣ и на Константинопольскихъ Поляхъ Смерти, на Волковомъ кладбищѣ и подъ Дамаскомъ, гдѣ среди песковъ стоятъ несмѣтные рогатые бугорки изъ глины въ видѣ сѣдла, въ московскомъ Донскомъ монастырѣ и въ Иосафатовой Долинѣ подъ Иерусалимомъ, въ Петропавловскомъ Соборѣ и въ катакомбахъ на Аппіевой дорогѣ, на берегахъ Бретани и въ сирійскихъ криптахъ, надъ прахомъ Данте и надъ могилой дурочки Эени въ Задонскѣ. А, есть отчего власть въ парадоксальность, сударыня! Вы скажете, что вы говорили не о томъ. Васъ, какъ и многихъ другихъ, возмущаютъ надписи вотъ вродѣ этихъ, то есть тѣ, что вкривь и вкось покрываютъ развалины романтическихъ замковъ и башенъ, внутренность вышки надъ куполомъ римскаго Петра, ворота на Байдарскомъ перевалѣ, верхушку пирамиды Хеопса, скалы въ Дарьяльскомъ ущельѣ и въ Альпахъ, гдѣ онѣ бьютъ въ глаза издалека, пишутся запасливыми путешественниками красной и бѣлой краской? Васъ приводитъ въ негодованіе проявленіе пошлости, обывательщины, какъ говорятъ въ подобныхъ случаяхъ, дерзость мѣщанина, прикладывающаго свою руку всюду, гдѣ онъ ни ступить?

— Въ негодованіе я не прихожу, — сказала дама, — но что надписи эти въ достаточной мѣрѣ противны, не скрываю. Вы, ваше высокопревосходительство,

нынче въ философскомъ настроеніи и хотите высказать очевидно, ту безспорную истину, что все, молъ, суета суеть и что передъ лицомъ Господа Бога совершенно равны и Данте, и какая-то Ёня. Молъ, рѣка временъ въ своемъ теченіи уноситъ всѣ дѣла людей, то есть и Хеопса, и Фрица, и Иванова перваго, и Иванова тысячу семьсотъ семьдесятъ седьмого. Вы эту Америку открыли? Да?

Но старичокъ только усмѣхнулся.

— Вы какъ нельзя болѣе проникательны, мой старый другъ,—отвѣтилъ онъ.—За свою долгую жизнь я пришелъ къ чудовищнымъ выводамъ относительно человѣческаго ума и человѣческой освѣдомленности на счетъ даже самыхъ безспорныхъ истинъ и на счетъ возможности еще долго напоминать ихъ безъ всякаго риска. Кромѣ того, мнѣ просто всегда очень нравились старыя истины, съ годами-же я становлюсь прямо обожателемъ ихъ, ибо вѣдь это только истерическимъ поросятамъ изъ нынѣшнихъ модернистовъ простительно думать, что міръ лѣтъ десять тому назадъ сталъ совершенно неузнаваемъ по сравненію со всей предыдущей міровой исторіей. Было время, когда и я весьма немногимъ отличался отъ прочихъ. Прочіе посягали на Иванова седьмого, а я смотрю, бывало, на клинопись и думаю: «Хоть ты и Вавилонъ построилъ и Сезостриса, какъ говорится, на голову разбилъ, а дуракъ!» Ну, а теперь я снисходительнѣе отношусь и къ Навуходноносу, и къ Иванову.

— И даже съ нѣжностью, — сказала дама.

— И даже съ нѣжностью, — подтвердилъ старичокъ. — Только, знаете, я даже и въ былыя времена былъ порою ей подверженъ. Вотъ хоть бы это: «посѣтили грѣшныя». Помню, прочиталъ — и расчувствовался ужасно. Ахъ, до чего хорошо! Казалось бы, зачѣмъ

они расписались? И что мнѣ въ этой Прасковѣ, въ этомъ Ефимѣ? А вотъ хорошо, и прежде всего, какъ разъ потому, что это не Карль Великій, а именно какой-то никому невѣдомый Ефимъ, оставившій для меня, ему тоже невѣдомаго, какъ бы частицу своей души въ одинъ изъ ея самыхъ завѣтныхъ моментовъ. А эти изодранныя перстнями, точно паутиной покрытыя зеркала въ кабацкихъ кабинетахъ? Неужели они никогда не трогали васъ? Вѣдь вы только подумайте: тамъ, гдѣ то въ залѣ, играла музыка, а нѣкто пьяный слушалъ, плакалъ, думалъ, что нѣтъ въ мірѣ несчастнѣе его судьбы, нѣтъ выше его чувствъ, и повторялъ, что его «лебединая пѣсня пропѣта», разрывалъ себѣ душу сладкими воспоминаніями о томъ будто бы счастье, которое будто бы было «когда-то». Пошлость, цыганщина? Но развѣ важно, отчего именно счастливъ или несчастливъ человѣкъ? Всѣ слезы одинаковы, всѣ онѣ капли одной и той же влаги! Да и не такъ ужъ отличенъ человѣкъ отъ человѣка, моя дорогая! Разъ ты Ивановъ и я Ивановъ — въ чемъ разница? Въ томъ, что ты седьмой, а я семнадцатый? Имя Иванова, написанное на могильномъ крестѣ, конечно, звучитъ иначе, чѣмъ тогда, когда оно написано на садовой скамейкѣ или въ ресторанѣ. А вѣдь, въ сущности, всѣ человѣческія надписи суть эпитафіи, поелику касаются момента уже прошедшаго, частицы жизни уже умершей.

— Меня комми-вожеры, счастливы они или нѣтъ, все таки не умиляютъ, Алексѣй Алексѣичъ, — сказала дама.

— А въ иной часъ, — возразилъ старичокъ упрямо, — мнѣ чортъ съ нимъ, что онъ комми-вожерьъ, разъ этотъ «иной часъ» есть часъ его великой скорби или радости. Нѣтъ, надписи на зеркалахъ меня ужасно всегда трогали! Трогали и инициалы на скамейкахъ и деревьяхъ, вырѣзанные тоже по случаю того, что когда-то «была чудесная весна» и «хороша и блѣдна



какъ лилея въ той аллеѣ стояла она...» Тутъ опять то же самое: не все ли равно, чьи имена, чьи инициалы, — Гете или Фрица, Огарева или Елиходова, Лизы изъ «Дворянскаго гнѣзда» или ея горничной? Тутъ главное все таки въ томъ, что была «до ланить восходящая кровь» и завѣтная скамья, что «шиповникъ алый цвѣль» (и, конечно, отцвѣль въ свой срокъ), что блаженные часы проходятъ и что надо, необходимо (почему, одинъ Богъ знаетъ, но необходимо) хоть какъ-нибудь и хоть что-нибудь сохранить, то есть противопоставить смерти, отцвѣтанію шиповника. Тутъ вѣчная, неустанная наша борьба съ «рѣкой забвенія». И что-жь, развѣ эта борьба ничего не даетъ, развѣ она уже совсѣмъ бесплодна? Нѣтъ, тысячу разъ нѣтъ! Ибо вѣдь въ противномъ случаѣ все пошло бы къ чорту — всѣ искусства, вся поэзія, всѣ лѣтописи человечества. Зачѣмъ бы все это существовало, если бы мы не жили ими, то есть, говоря иначе, не продолжали бы, не поддерживали жизнь всего того, что называется прошлымъ, бывшимъ? А оно существуетъ! У людей три тысячи лѣтъ навертываются слезы на глаза, когда они читаютъ про слезы Андромахи, провожающей съ ребенкомъ на рукахъ Гектора. Я сорокъ лѣтъ умиляюсь, вспоминая умиленіе, съ которымъ выводили свои караули Ефимъ и Прасковья. И посему да здравствуютъ во вѣки вѣковъ и Андромаха, и Прасковья, и Вертеръ, и Фрицъ, и Гоголь, и Иванъ Никифоровичъ, полтора ста лѣтъ тому назадъ скушавшій въ Миргородѣ дыню и записавшій сіе событіе!

И, поднявшись со скамьи, старичокъ снялъ шляпу и, странно улыбаясь, размахнулся и потрясъ ею въ воздухъ.

28. VI. 24.

## РУСАКЪ.

Непроглядная метель, стекла оконъ залѣплены свѣжимъ, бѣлымъ снѣгомъ, въ домѣ бѣлый, снѣжный свѣтъ; и все время однообразно шумить за стѣнами, однообразно, черезъ извѣстные промежутки, скрипнуть и стонетъ сукъ стараго дерева въ палисадникѣ, уже давно задѣвающей крышу. Лежу и читаю и, какъ всегда въ метель, съ особой отрадой чувствую старину, уютъ дома.

Вотъ въ прихожей хлопнула дверь, слышно, какъ Петя, вернувшійся съ охоты, топаетъ валенками, отряхивается отъ снѣга, затѣмъ мягкими шагами проходить черезъ залу къ себѣ. Я встаю и иду въ прихожую. Съ полемъ или нѣтъ?

Съ полемъ.

На лавкѣ въ прихожей, растянувшись, выкинувъ переднія лапки впередъ, а заднія назадъ, лежитъ старый уже выбѣлившійся русакъ. И, какъ всегда въ такихъ случаяхъ, я гляжу на него, трогаю его и съ изумленіемъ, и восторгомъ.

Онъ лобастый, съ большими и выпученными, глядящими назадъ стекловидными глазами, золотистыми внутри и ничуть еще не померкшими, — все такими - же бессмысленно блестящими, какъ и при жизни.

Но вся его тяжелая тушка уже каменно тверда и холодна.

Закаменѣли, туго вытянуты лапки въ жесткой шерсткѣ, туго завернуть сѣро - коричневый мохоръ хвостика. И на торчащихъ кошачьихъ усахъ, на раздвоенной верхней губѣ — запекшаяся кровь.

Чудо, дивное чудо!

Чась тому назадъ, всего чась тому назадъ, шевеля этими усами, прижавъ вотъ эти длинныя уши и чутко, зорко кося за спину стекломъ глазъ, золотистыхъ внутри, онъ лежалъ въ мерзлой ямкѣ подъ сугробомъ въ полѣ, наполняя эту ямку своимъ жаркимъ тепломъ, блаженствуя въ буйномъ дыму вьюги, которая со всѣхъ сторонъ дула, заносила его снѣгомъ. Внезапно открытый и поднятый собакой, онъ даль отъ нея такого стрекача, головокружительную красоту котораго не выразить никакимъ человѣческимъ словомъ. И какъ жарко и дико колотилось его обезумѣвшее, оглушенное выстрѣломъ сердце, когда порывисто оборвался его бѣгъ, а Петя крѣпко поймалъ его за уши, и какимъ пронзительнымъ, младенческимъ воплемъ отвѣтилъ онъ на то послѣднее, что вдругъ ощутилъ онъ, — острый огонь кинжала, глубоко пронзившій ему горло!

...Нѣтъ словъ выразить то непонятное наслажденіе, съ которымъ я чувствую и эту гладкую шкурку, и закаменѣвшую тушку, и самого себя, и холодное окно прихожей, занесенное, залѣпленное свѣжимъ, бѣлымъ снѣгомъ, и весь этотъ вьюжный, блѣдный свѣтъ, разлитый въ домъ...

19. VIII. 24.

## КНИГА.

Лежа на гумнѣ въ ометѣ, долго читаль — и вдругъ наскучило, даже возмутило. Опять съ раннего утра читаю, опять съ книгой въ рукахъ! И такъ изо дня въ день, съ самаго дѣтства! Полжизни прожилъ въ какомъ-то несуществующемъ мірѣ, среди людей, никогда не бывшихъ, выдуманныхъ, волнуясь ихъ судьбами, ихъ радостями и печалями, какъ своими собственными, до могилы связавъ себя съ Авраамомъ и Исаакомъ, съ пелазгами и этрусками, съ Сократомъ и Юліемъ Цезаремъ, Гамлетомъ и Данте, Гретхенъ и Чацкимъ, Собакевичемъ и Офеліей, Печоринымъ и Наташей Ростовою! И какъ теперь разобратъ среди дѣйствительныхъ и вымышленныхъ спутниковъ моего земного существованія? Какъ раздѣлить ихъ, какъ опредѣлить степени ихъ вліянія на меня?

Гумно за усадьбой, за деревней. Я читаль, жилъ чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, мухи, шмели, птицы, облака — все жило своей собственной, настоящей жизнью. И вотъ я внезапно почувствовалъ это и очнулся отъ книжного навожденія, отбросилъ книгу въ солому и съ удивленіемъ и съ радостью, какими то новыми глазами, смотрю кругомъ, остро вижу, слышу, обоняю, — главное, чувствую что-то необыкновенно простое

и въ то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, невыразимое, что есть въ жизни и во мнѣ самомъ и о чемъ никогда не пишутъ въ книгахъ.

Пока я читалъ, въ природѣ сокровенно шли измѣненія. Было солнечно, празднично; теперь все померкло, стихло. Въ небѣ мало - по - малу собрались облака и тучки, кое - гдѣ, — особенно къ югу, — еще свѣтлыя, красивыя, а къ западу, за деревней, за ея лозинами, дождевыя, синеватыя, скучныя. Тепло, мягко, пахнетъ далекимъ полевымъ дождемъ. Въ саду поетъ одна иволга.

По сухой фіолетовой дорогѣ, пролегающей между гумномъ и садомъ, возвращается съ погоста мужикъ. На плечѣ блестящая, бѣлая желѣзная лопата съ прилипшимъ къ ней синимъ черноземомъ. Лицо помолодѣвшее, ясное. Шапка сдвинута съ потнаго лба.

— На своей дѣвчкѣ кустъ жасмину посадилъ! — бодро говоритъ онъ, проходя мимо меня. — Добраго здоровья. Все читаете, все книжки выдумываете?

Онъ счастливъ. Чѣмъ? Только тѣмъ, что живетъ на свѣтѣ, то есть совершаетъ нѣчто самое непонятное и дивное въ мірѣ.

Въ саду поетъ иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже пѣтуховъ не слышно. Одна она поетъ — не спѣша выводитъ игривыя трели. Зачѣмъ, для кого? Для себя - ли, для той - ли жизни, которой сто лѣтъ живетъ садъ, усадьба, домъ? А можетъ быть, это усадьба живетъ для ея флейтового пѣнія?

«На своей дѣвчкѣ кустъ жасмину посадилъ». А развѣ дѣвчка объ этомъ знаетъ? Мужику кажется, что знаетъ, и, можетъ быть, онъ правъ. Мужикъ къ вечеру забудетъ объ этомъ кустѣ, — для кого - же

онъ будетъ цвѣсти? А вѣдь будетъ цвѣсти, и будетъ казаться, что не даромъ, а для кого - то и для чего-то.

«Все читаете, все книжки выдумываете». А зачѣмъ выдумывать? Зачѣмъ героини и герои? Зачѣмъ непременно романъ, повѣсть, рассказъ съ завязкой и развязкой, по извѣстному и указанному образцу? Вѣчная боязнь показаться недостаточно книжнымъ, недостаточно похожимъ на тѣхъ, что прославлены! И вѣчная мука — вѣчно молчать, не говорить какъ разъ о томъ, что есть истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболѣе законно выраженія, то есть слѣда, воплощенія и сохраненія хотя бы въ словѣ!

20. VIII. 24.

## ПОДТОРЖЬЕ.

### *Отрывокъ.*

Конецъ мая, и въ полѣ еще прохладно, дусть вѣтеръ, то и дѣло прячется въ облака солнце, идутъ тѣни и свѣтъ.

Ѣхали, тряслись на телѣжкѣ часа четыре. Устали, и все надоѣло. Но вотъ наконецъ открылась въ широко развернувшейся дали картина города, заблѣла полоса шоссе, бѣгущаго къ нему, — и усталость какъ рукой сняло. Заговорили, стали закуривать, веселѣе шевельнули вожжами и покатили вдоль шоссе ровной рысью, все чаще и чаще обгоняя прочихъ ѣдущихъ, со всѣхъ сторонъ текущихъ къ городу все затѣмъ - же — на ярмарку. Повеселѣла, успокоилась и погода; вѣтеръ стихъ, и все приближающійся городъ, его монастырь, острогъ, кресты церквей и стекла домовъ уже видны ясно, блестятъ противъ вечерняго солнца.

И воздухъ сталъ мѣняться. Онъ еще прохладный, миндальный, еще полевой, но уже мѣшается со множествомъ прочихъ запаховъ. За телѣгами идутъ привязанныя къ нимъ лошади и коровы. На рогахъ коровъ тоже блеститъ низкое солнце, коровы идутъ медленно и съ какой - то женственной неловкостью.

Молодые кобылки и жеребчики, когда ихъ объѣзжаешь рысью, красиво и гнѣвно горячатся, шарахаются. И пахнетъ и конскимъ навозомъ, и коровами, и дегтемъ, и сѣномъ, которымъ набиты телѣжные задки, больше - же всего — городомъ и ярмарочнымъ станомъ, уже раскинувшимся на громадномъ выгонѣ передъ монастыремъ. Тамъ, на этомъ выгонѣ, идетъ подторжье, бѣлѣютъ балаганы, дмятъ собранныя на скорую руку походныя печки, и набралось порядочное количество скотины и телѣгъ съ поднятыми оглоблями, разставленныхъ однако еще довольно просторно...

Черезъ нѣсколько минутъ телѣжка, съ непривычной для деревенскаго уха грубостью, вдругъ загремѣла по мостовой. — Городъ!

---

Остановились, какъ всегда, на Острожной улицѣ, на той, что прямикомъ вводитъ въ городъ между острогомъ и монастыремъ.

На большой дворъ подворья едва въѣхали — такъ тѣсно. Все заняли цыгане, которые навели цѣлый табунъ лошадей: и донскихъ, и киргизовъ, и кровныхъ, породистыхъ, крытыхъ попонами. Посреди двора — огромный фургонъ съ кожанымъ верхомъ, весь изукрашенный мѣдными драконами. Рядомъ разбита полосатая палатка. Подъ нея поднятыми полами постлана прямо на землѣ необъятная постель, — навалено нѣсколько перинъ, кое - какъ прикрытыхъ лохмотьями ситцевыхъ одѣялъ, и множество сальныхъ красныхъ подушекъ. На подушкахъ высоко лежитъ навзничъ, какъ мертвый, спитъ мальчикъ лѣтъ пятнадцати, безъ шапки, въ валенкахъ, необык-



новенной красоты. У ногъ его густо и пахуче дымить самоваръ. А на самоваръ пристально смотритъ молодая цыганка. На шеѣ сургучныя нити кораловъ, навѣшены старыя серебряныя кресты. Смотритъ, курить махорку и сплевываетъ.

Зато въ горницахъ ни души. «Да и ночуете одни, всѣ при лошадахъ, на дворѣ», сказала большая гнутая старуха, мать хозяина. — «А это и того лучше, отвѣтили ей. — Распорядись - ка, матушка, на счетъ самоварчика да позвольте руки немножко помыть...»

Потомъ отдыхъ, чаепитіе и закуска, — купили калачей, колбасы. Потомъ сидѣли, курили на крылечкѣ, разговаривали съ подходящими барышниками и цыганами о томъ, какъ идетъ подторжье, какъ вы намѣчаются цѣны. Барышники твердятъ:

— Что Господь дастъ! Что Господь дастъ! Онъ цѣны строить...

Вечеромъ изъ - за крышъ города — золотой свѣтъ большой низкой луны. Свѣтъ и тѣни лежатъ во дворѣ, который кажется красивымъ, а отъ фургона, отъ палатки даже нѣсколько сказочнымъ. Какъ тепло, что значить городъ! И потому, что по этой прямой и широкой Острожной улицѣ все ѣдутъ и ѣдутъ, скрипя телѣгами, а по выбитому троттуару идутъ и переговариваются, ночь весела, празднична.

---

Утромъ оживленіе необыкновенное.

Утромъ говорливая толпа идетъ, валить въ другую сторону, — вонъ изъ города, по направленію къ монастырю. Туда - же несутся, ныряя по пыльнымъ ухабамъ, и извозчики.

Вѣтренно, но солнечно, почти жарко. И все время

— громкіе и жидкіе металлическіе звуки колоколовъ, ихъ праздничный кавардакъ, не смолкающій ни на минуту, не дающій говорить и слушать.

Какое многолюдство и какъ все растеть оно, по мѣрѣ приближенія къ монастырю, къ ярмаркѣ!

Вотъ густая толпа возлѣ воротъ монастыря, — бородатые, волосатые и загорѣлые мужики, все чужіе, новые для глаза, изъ дальнихъ, задонскихъ деревень, и великая пестрота нарядныхъ бабъ и дѣвокъ, тоже чужихъ, кажущихся красивѣе, чѣмъ свои. Ворота монастыря, по бокамъ которыхъ во весь ростъ написаны два длиннородыхъ старца въ зеленыхъ рясахъ и черныхъ епитрахиляхъ, съ развернутыми хартіями въ рукахъ, широко раскрыты, и изъ нихъ выѣзжаютъ купеческія коляски съ важными и строгими чуйками и салопами. А противъ монастыря — большой желтый острогъ, и изъ всѣхъ рѣшетчатыхъ оконъ его смотрятъ, прильнувъ къ рѣшеткамъ, широкія блѣдныя лица подъ сѣрыми безкозырками. У воротъ острога тоже толпа, — сердобольныя души принесли острожникамъ праздничнаго калачика.

Вотъ въ канавѣ возлѣ шоссе спитъ молодой босякъ съ маленькой стриженной головой. Какое - то своеобразное изящество, какое - то щегольство есть во всей его легкой, не - деревенской фигурѣ, въ его короткой ситцевой рубахѣ и рваныхъ дырявыхъ брючкахъ. И проходящіе смѣются и острятъ:

— Кто праздничку радъ, тотъ до свѣту пьянь!

А на шоссе одиноко стоитъ распряженная телѣга, а на телѣгѣ, на возу, сидитъ унылая дѣвица въ драповомъ дипломатѣ. На крыльяхъ носа пыль, Дуеть жаркій вѣтерокъ, несетъ шумъ и гомонъ яр-

марки, всего того, что затопило весь огромный выгонъ впереди, и лицо у дѣвицы отупѣло отъ сидѣнья, отъ обиды, что ее посадили и ушли, отъ стыда и злобы, что всѣ идутъ и смотрятъ на нее.

А вотъ уже и пыльная, истоптанная трава выгона. Тутъ, на отлетѣ, на самомъ ходу, пристроился со своимъ столикомъ квасникъ. Толпа валить и валить мимо, и многіе на ходу успѣваютъ у него выпить. И онъ потень и красень, съ разстегнутымъ воротомъ, съ картузомъ на затылокъ, радостно замучень своей неугасимой энергіей, своимъ призывнымъ крикомъ и бойкой торговлей. Не прекращая кричать, онъ то и дѣло съ трескомъ разкупориваетъ бутылки, озабоченно отсчитываетъ сдачу мѣдяками, а самъ бьетъ, разгоняетъ сапогомъ двухъ красныхъ пѣтуховъ, сѣпившихся подъ его столикомъ.

---

И съ каждымъ шагомъ впередъ все растетъ тѣснота — отъ народа, отъ телѣгъ, отъ скотины, и уже поминутно спотыкаешься на связанныхъ овецъ, лежащихъ на землѣ среди пыли и навоза, опасно пробираешься между рогатой скотиной, жмешься возлѣ лошадиныхъ задовъ.

А вотъ даже и совсѣмъ надо остановиться, — ходу дальше нѣтъ: въ разступившемся кругу тѣсной толпы идетъ бѣшеный торгъ. Торгуютъ всего на всего мужицкую лошаденку съ легкимъ дрожащимъ хвостомъ. Но какая горячка, сколько крику! Какъ яростно носится, держа эту лошаденку за поводъ и поминутно съ дикимъ и вызывающимъ видомъ оборачиваясь на зрителей, цыганъ со смольной бородкой, съ черно - золотыми глазами!

Онъ въ разстегнутой жилеткѣ поверхъ лиловой рубахи, въ плисовыхъ шароварахъ, одна штанина выпала изъ - за его голенища.

— По душамъ сказалъ — бери! — кричить онъ.

На него смотрятъ пузатый сѣдой барышникъ съ серебряными брелоками на часахъ, затягивающійся изъ серебрянаго мундштука, и мелкопомѣстный баринъ въ бѣломъ картузѣ, въ черной поддевкѣ и сѣрыхъ штанахъ на выпускъ.

— По душамъ сказалъ, душевно говорю! — сипло кричить цыганъ, круто заворачивая и осаживая сразу на всѣ ноги лошаденку. — По душамъ сказалъ — бери! Ну, сто монеть — и пойдемъ жижку пить! Зимой прїѣду, угощать станешь, хлѣбъ - соль дашь!

— Ну, вотъ что, — кричитъ барышникъ: — по Божьему, по хорошему, по любовному, съ веселымъ сердцемъ: шесть красныхъ — и кончайте! Лошадь — работница! Не сопата, не горбата, животомъ не надорвата!

— Я лошадь не корю, — кричитъ мелкопомѣстный. — Я лошадь принимаю!

— Лошадь дурить нельзя! — подхватываютъ въ толпѣ.

— Дай Богъ дитя такое! — кричитъ цыганъ.

— Ну, и молитесь! Его святая воля!

— Ну, была бѣ жива-здорова! Молитесь Богу!

— Господи благослови! Кончайте!

Крестятся, яростно бьютъ по рукамъ, но мелкопомѣстный кричить:

— Пять красныхъ и могоарычъ мой!

И цыганъ бѣшено плюетъ;

— Тьфу! Сахаромъ тебѣ въ уста, огнемъ изъ за-

ду, этотъ могоарычъ твой! Что съ тобой говорить, только кровь гадить!

Но спѣшно подходитъ съ высокой палкой въ рукѣ старый цыганъ, лицо котораго точно со старой мѣдной медали.

— Стой! Что за шумъ, а драки нѣту? — кричитъ онъ. — Стой, я васъ помирю!

И торгъ начинается опять сначала, закипаетъ съ новымъ ожесточеніемъ.....

## ВЪ ДЕНЬ ПАМЯТИ ПЕТРА.

«Красуйся, градъ Петровъ, и стой  
Неколебимо, какъ Россія...»

О, если бь узы гробовыя  
Хоть на единый мигъ земной  
Поэтъ и Царь расторгли нынѣ!  
Гдѣ Градъ Петра? И чьей рукой  
Его краса, его твердыни  
И алтари разорены?

Хлябь, хаосъ — царство Сатаны,  
Губящаго слѣпой стихіей.  
И вотъ, дохнулъ онъ надъ Россіей,  
Возсталъ на Божій строй и падъ —  
И скрытъ пучиной окаянной  
Великій и священный Градъ,  
Петромъ и Пушкинымъ созданный.

И все-жь придетъ, придетъ пора  
И воскресенья и дѣянья,  
Прозрѣнія и покаянья.  
Россія! Помни-же Петра.  
Петръ значить Камень. Сынъ Господній  
На камени созиждетъ храмъ  
И скажетъ: «Лишь Петру я дамъ  
Владычество нацѣ преисподней».

Парижъ, 28. I. 25.

## ДРЕВНИЙ ОБРАЗЪ.

Она стоитъ въ серебряномъ вѣнцѣ,  
Съ закрытыми глазами. Ни кровинки  
Нѣтъ въ голубомъ младенческомъ лицѣ,  
И ручки, — какъ изсохшія тростинки.

За нею кипарисы на холмахъ,  
Небесный Градъ, лѣпящійся къ утесу,  
Подъ нимъ-же Смерть: на корточкахъ, впотъмахъ,  
Оскаливъ черепъ, точить косу.

Но Ангелы ликують въ вышинѣ:  
Безильны, Смерть, твои угрозы! —  
И облака въ предъутреннемъ огнѣ  
Цвѣтутъ и округляются, какъ розы.

## МОРСКАЯ КРАСА.

Ужъ какъ на морѣ, на морѣ,  
На синемъ камени,  
Нагая краса сидитъ,  
Бѣлыя ноги въ волнѣ студитъ,  
Зазываетъ съ пути корабельщиковъ:  
— «Корабельщики, корабельщики!  
Что вы по свѣту ходите,  
Понапрасну ищите  
Самоцвѣтнаго яхонта-жемчуга?  
Есть одна въ морѣ жемчужина —  
Моя бѣлая краса,  
Уста жаркія,  
Груди холодныя,  
Ноги легкія,  
Лядвіи тяжелыя!  
Есть одна утѣха не постылая —  
На рукѣ моей спать-почивать,  
Слушать пѣсни мои унывныя!»  
Корабельщики плывутъ, не слушаютъ,  
А на сердцѣ тоска-печаль,  
На глазахъ слезы горячія.  
Ту тоску не заспать, не забыть  
Ни въ пути, ни въ пристани,  
Не отдумать до-вѣку.



Ты, свѣтлая ночь, полнолунная высь!  
Подайся, засовъ, распахнись,  
Тяжелая дверь, на морозный просторъ,  
На бѣлый сіяющій дворъ!

Ты, звонкая ночь, сребролунная даль!  
Ахъ, если бь не крѣпкая паль,  
Не ржавый замокъ, не лихой волкодавъ,  
Не батюшкинъ ласковый нравъ!

Въ столѣтнемъ мракѣ черной ели  
Краснѣла темная заря,  
И свѣтляки въ кустахъ горѣли  
Зеленымъ дымомъ янтаря,  
И на скамьѣ сидѣлъ я старой,  
И парка сумеречный сонъ  
Меня баюкалъ смутной чарой  
Далекихъ дѣдовскихъ временъ,  
И ты играла въ темной заплѣ  
Съ открытой дверью на балконъ,  
И пѣла грусть твоей рояли  
Про невозвратный небосклонъ,  
Что былъ надъ паркомъ, — блѣдный, ровный,  
Ночной, юньскій, — тамъ, гдѣ слѣдъ  
Души счастливой и любовной,  
Души моихъ далекихъ лѣтъ.

## ВСТРѢЧА.

Ты на плечѣ, рукою обнаженной,  
Отъ зноя темной и худой,  
Несешь кувшинъ изъ глины обожженной,  
Наполненный тяжелою водой.  
Съ нагихъ холмовъ, гдѣ стелются сухіе  
Сѣдые злаки и полынь,  
Глядишь въ просторъ пустынной Куманіи,  
Въ морскую вечерѣющую синь.  
Все та же ты, какъ въ сказочные годы!  
Все тѣ же губы, тотъ же взглядъ,  
Исполненный и рабства и свободы,  
Умершій на землѣ уже стократъ.  
Все тотъ же зной и дикій запахъ лука  
Въ тѣлесномъ запахѣ твоёмъ,  
И та же мучить сладостная мука,  
Безплодное томленіе о немъ.  
Черезъ вѣка найду въ пустой могилѣ  
Твой крестъ серебряный — и вновь,  
Вновь оживетъ мечта о древней были,  
Моя неутоленная любовь,  
И будетъ вновь въ морской вечерней сини,  
Въ ея задумчивой дали  
Все тотъ же зовъ, печаль временъ, пустыни  
И красота полуденной земли.

## ДОЧЬ.

Все снится: дочь есть у меня,  
И вотъ я, съ нѣжностью, съ тоской,  
Дождался радостнаго дня,  
Когда ее къ вѣнцу убрали,  
И самъ, неловкою рукой  
Поправиль газъ ея вуали.

Глядѣть на чистое чело,  
На робкій блескъ невинныхъ глазъ  
Мнѣ почему-то тяжело,  
Но все жъ блѣднѣю я отъ счастья,  
Крестя ее въ послѣдній часъ  
На это женское причастье.

Что снится мнѣ потомъ? Потомъ  
Она ужъ съ *нимъ*, — какъ страшень онъ! —  
Потомъ мой опустѣвшій домъ —  
И чувствомъ молодости странной,  
Какъ будто послѣ похоронъ,  
Кончается мой сонъ туманный.

Море, степь и южный августъ, ослѣпительный и  
жаркій.

Море плавится въ заливѣ драгоцѣнной синевой.  
Внизъ бѣгу. Обрывъ за мною противъ солнца желтый,  
яркій,

А побережье подо мною блещетъ высохшей травой.

Внизъ сбѣжавши, отдыхаю. И лежу, и слышу лежа  
Несказанное безмолвье. Лишь кузнечики сипятъ  
Да печетъ нещадно солнце. И горитъ, чернѣетъ кожа,  
Соннымъ хмелемъ входитъ въ тѣло огневой полднев-  
ный ядъ.

Вспоминаю лѣтній полдень, небо свѣтлое... Въ  
просторѣ  
Свѣта, воздуха и зноя, стройно, молодо, легко  
Ты выходишь изъ кабинки. Подъ тобою, въ сваяхъ,  
море,  
Подъ ногой горячій мостикъ... Этотъ полдень далеко...

Вотъ опять я молодъ, воленъ, — миновало наше лѣто...  
Мотыльки горячимъ роємъ осыпаютъ предо мной  
Пересохшіе бурьяны. И раскрыта и нагрѣта  
Опустѣвшая кабинка... Въ мірѣ радость, свѣтъ и зной.

## ГАДАНЬЕ.

Гадать? Ну что же, я послушна,  
Давай очки, подвинь огонь...  
— Ахъ, какъ нѣжна и простодушна  
Твоя открытая ладонь!

Но ты потупилась, смущаясь?  
Въ лицѣ румянца ни слѣда,  
Въ рѣсницахъ слезы? — Не бѣда:  
Блѣднѣютъ розы, раскрываясь.

## ПОЭТЕССА.

Большая муфта, блѣдная щека,  
Прижатая къ ней томно и любовно,  
Угломъ колѣни, узкая рука...  
Нервна, притворна и безкровна.

Все принца ждеть, котораго все нѣтъ,  
Глядитъ съ мольбою, горестно и смутно:  
— «Пучковъ, прочтите новый триолеть...»  
Скучна, безпола и распутна.

Льеть безъ конца. Въ лѣсу туманъ.  
Качають елки головою:  
«Ахъ, Боже мой!» — Лѣсь точно пьянъ,  
Пресыщенъ влагой дождевою.

Въ сторожкѣ темной у окна  
Сидить и ложкой бьетъ ребенокъ.  
Мать на печи, — все спить она,  
Въ сырыхъ сѣняхъ мычитъ теленокъ.

Въ сторожкѣ грусть, мушиный гудъ...  
— Зачѣмъ въ лѣсу звенить овсянка,  
Грибы растутъ, цвѣты цвѣтутъ  
И травы ярки, какъ медянка?

— Зачѣмъ подъ мѣрный шумъ дождя,  
Томясь всѣмъ міромъ и сторожкой,  
Большеголовое дитя  
Долбитъ о подоконникъ ложкой?

Мычитъ теленокъ, какъ нѣмой,  
И клонятъ горестныя елки  
Свои зеленыя иголки:  
«Ахъ, Боже мой! Ахъ, Боже мой!»



Въ геліотроповомъ свѣтѣ молній летучихъ  
На небесахъ раскрывались дымныя тучи,  
На косогорѣ далекомъ — призракъ дубравы,  
Въ мокромъ лугу передъ домомъ — бѣлыя травы.

Молніи мракомъ топило, съ грохотомъ грома  
Ливень свергался на крышу полночнаго дома —  
И металлически страшно, въ дикой печали,  
Гуси изъ мрака кричали.

## ВОСХОДЪ ЛУНЫ.

Въ чашѣ шорохъ потаенный,  
Дуновеніе тепла.  
Тополь, сверху озаренный,  
Передъ домомъ вознесенный,  
Весь изъ жидкаго стекла.

Въ чашу темную глядится  
Кругъ зеркально-золотой.  
Тополь льется, серебрится,  
Весь трепещетъ и струится  
Стекловидною водой.

Въ пустомъ, сквозномъ чертогѣ сада  
Иду, шумя сухой листвою:  
Какая странная отрада  
Былое попирать ногой!  
Какая сладость все, что прежде  
Цѣнилъ такъ мало, вспоминать!  
Какая боль и грусть — въ надеждѣ  
Еще одну весну узнать!

«Опять холодныя сѣдыя небеса,  
Пустынныя поля, набитыя дороги,  
На рыжіе ковры похожіе лѣса  
И тройка у крыльца и слуги на порогѣ...»

— Ахъ, старая, наивная тетрадь!  
Какъ смѣлъ я въ тѣ года гнѣвить печалью Бога?  
Ужъ больше не писать мнѣ этого «опять»  
Передъ счастливою осеннею дорогой!

Ночью звѣздной и студеной,  
Въ тонкомъ сумракѣ полей, —  
Ослѣпительно-зеленый  
Разрывающійся змѣй.

О, какая ярость злая!  
Точно Дьяволъ въ древній мигъ  
Низвергается, пылая,  
Отъ тебя, Архистратигъ.

## СТАРИННЫЕ СТИХИ.

Одно лишь небо, свѣтлое, ночное,  
    Да ясный кругъ луны  
Глядятъ всю ночь въ отверстіе пустое,  
    Въ руину сей стѣны.

А по ночамъ тутъ жутко и тревожно,  
    Ночные корабли  
Свой держать путь съ молитвой осторожной,  
    Далеко отъ земли.

Свѣжо тутъ дуетъ вѣтеръ изъ простора  
    Сарматскихъ дикихъ мѣстъ,  
И буйный шумъ, подобный шуму бора,  
    Всю ночь стоитъ окрестъ:

То Понтъ кипить, въ пескахъ могилы роетъ,  
    Ярится при лунѣ —  
И волосы утопленниковъ моетъ,  
    Влача ихъ по волнѣ.

Уныніе и сумрачность зимы,  
Пустыня непривѣтливыхъ предгорій,  
Въ багряной смушкѣ дальніе холмы,  
А тамъ, за ними, — чувствуется — море.

Тамъ хлябь и мгла. Угадываю ихъ  
По свѣжести, оттуда доходящей,  
По тучѣ, въ космахъ мертвенно сѣдыхъ  
Вдоль тѣхъ хребтовъ плывущей и дымящей.

Гляжу вокругъ, остановивъ коня,  
И древній человѣкъ во мнѣ тоскуетъ:  
Какъ жаждетъ сердце крова и огня,  
Когда въ горахъ вечерній вѣтеръ дуетъ!

Но отчего такъ тянетъ то, что тамъ?  
— О море! Мглою и хлябью довременной  
Ты все таки роднѣй и ближе намъ,  
Чѣмъ радости всей этой жизни брэнной!

## МИНЬОНА.

Въ горахъ, отъ снѣга побѣлѣвшихъ,  
Туманно къ вечеру синѣвшихъ,  
Тащилась на спинѣ осла  
Вязанка сучьевъ почернѣвшихъ,  
А я, въ лохмотьяхъ, слѣдомъ шла.

Вдругъ сзади крикъ — и вижу: сзади  
Несется съ гуломъ, полный клади,  
На дышлѣ съ фонаремъ, дормезь:  
Едва метнулась я къ оградѣ,  
Какъ онъ, мелькнувъ, уже исчезъ.

Въ сѣдыхъ мѣхахъ, высокъ и строень,  
Прекрасень, царственно спокоень  
Былъ путешественникъ... Меня-ль,  
Босой и нищей, онъ достоинъ  
И какъ ему меня не жаль!

Вотъ сплю въ лачугѣ закопченной,  
А онъ сравнитъ меня съ Мадонной,  
Съ лучомъ небеснаго огня,  
Онъ назоветъ меня Миньоной  
И влюбитъ цѣлый міръ въ меня.



## КОБЫЛИЦА.

Я снялъ узду, сѣдло — и вольно  
Она метнулась отъ меня,  
А я склонился богомольно  
Предъ солнцемъ гаснущаго дня.

Она взмахнула легкой гривой  
И, ноздри къ вѣтру обративъ,  
Съ тоскою нѣжной и счастливой  
Кому то страстный шлетъ призывъ.

Едины Божіи созданья,  
Благословенъ Создавшій ихъ  
И совмѣстившій всѣ желанья  
И всѣ томленія — въ моихъ.

## ЭЛЛАДА.

Межь острововъ Архипелага  
Есть славный островъ. Онъ пустой,  
Въ немъ есть подобье саркофага.  
Сіяль разсвѣтъ, туманъ съ водой  
Мѣшался въ бездны голубыя,  
Когда увидѣль я впервые  
Въ туманѣ, въ ладонѣ густомъ,  
Его алѣвшую грсмаду, —  
Въ гробу почившую Элладу, —  
На небѣ ясно-золотомъ.  
Изъ-за нея, въ горячемъ блескѣ,  
Уже сіяль лучистый Богъ,  
И нищій эллинъ въ грязной фескѣ  
Спалъ на кормѣ у нашихъ ногъ.

## ГОЛУБЬ.

Бѣлый голубь летитъ черезъ море,  
Черезъ сине-зеленое море,  
Бѣлый голубь Киприды завидѣлъ,  
Что стоишь ты на жаркомъ пескѣ,  
Что кипитъ бѣлоснѣжная пѣна  
По твоимъ загорѣлымъ ногамъ,  
Онъ пернатой стрѣлою несется  
Изъ-за вочнѣ, гдѣ грядой голубою  
Тають въ солнечной мглѣ острова,  
Долетѣвъ, упадаетъ въ восторгѣ  
На тугія холодныя груди,  
Орошенныя пылью морской,  
Трепеща, онъ уста твои ищетъ,  
А горячее солнце выходитъ  
Изъ прозрачнаго облака, зноемъ,  
Точно масломъ, тебя обливаетъ —  
И Киприда съ божественнымъ смѣхомъ  
Обнимаетъ тебя выше бедръ.

## РАБЫНЯ.

Странно созданъ человѣкъ!  
Оттого что ты рабыня,  
Оттого что ты безъ страха  
Отскочила отъ поэта  
И со смѣхомъ дискъ зеркальный  
Поднесла къ его морщинамъ, —  
Съ вящей жаждой вождельнья  
Смотрить онъ, какъ ты прижалась,  
Вся впередъ подавшись, въ уголь,  
Какъ подъ желтымъ шелкомъ остро  
Встали маленькія груди,  
Какъ сіяетъ смуглый локоть,  
Какъ смолисто пали кудри  
Вдоль ливійскаго лица,  
На которомъ чернымъ солнцемъ  
Свѣтятъ радостно и знойно  
Африканскіе глаза.

## ГРОТЪ.

Волна, хрустальная, тяжелая, лизала  
Подножіе скалы, — качался водный сплавъ,  
Горбами шель къ скалѣ, — волна росла, сосала  
Ея кровавый мохъ, медлительно вползала  
    Въ отверстіе грота, какъ удавъ, —  
И вдругъ темнѣлъ, переполнялся бурнымъ,  
    Гремящимъ шумомъ звучный гротъ  
    И вспыхивалъ такимъ лазурнымъ  
    Огнемъ его скалистый сводъ,  
    Что съ крикомъ ужаса и смѣхомъ  
    Кидался въ сумракъ дальнихъ водъ,  
Будя органъ пещеръ тысячекратнымъ эхомъ,  
    Наядъ пугливый хороводъ.

Бываетъ море бѣлое, молочное,  
Всѣмъ зримый Апокалипсисъ, когда  
Весь міръ одно молчаніе полночное,  
Армады звѣздъ и мертвая вода...

И вотъ оно, могильное, грозящее  
Созвѣздіями небо — и легко  
Дымящееся жемчугомъ, лежащее  
Всемирной плащаницею млеко!

## ПАНТЕРА.

Черна, какъ копь, гдѣ солнце, гдѣ алмазь.  
Брезгливый взглядъ полузакрытыхъ глазъ  
Томится, пьянь, мерцаетъ то угрозой,  
То роковой и неотступной грезой.

Томятъ, пьянятъ короткіе круги,  
Размѣренно-неслышные шаги —  
Вотъ въ царственномъ презрѣніи ложится  
И вновь въ себя, въ свой жаркій сонъ глядится.

Сошурившись, глаза отводитъ прочь,  
Какъ бы слѣпить ихъ этотъ сонъ и ночь,  
Гдѣ черныхъ копей знойное горнило,  
Гдѣ жгучихъ сощнць алмазная могила.

## СТАРАЯ ЯБЛОНЯ.

Вся въ снѣгу, кудрявомъ, благовонномъ,  
Вся-то ты гудишь блаженнымъ звономъ  
Пчель и ось, завистливыхъ и злыхъ...

Старишься, подруга дорогая?  
Не бѣда. Вотъ будетъ-ли такая  
Молодая старость у другихъ!



## СОДЕРЖАНІЕ.

Митина Любовь .....	7
Святитель .....	93
Именины .....	95
Скарабей .....	97
Богиня .....	100
Музына .....	116
Слѣпой .....	118
Товарищъ Дозорный .....	121
Мухи .....	129
Красный генераль .....	134
Лапти .....	144
Слава .....	147
Надписи .....	156
Русакъ .....	163
Книга .....	165
Подторжье .....	168
Стихи .....	175



РУССКІЙ НАЦІОНАЛЬНЫЙ  
КНИЖНЫЙ МАГАЗИНЪ  
**Е. СІЯЛЬСКОЙ**

Librairie M<sup>me</sup> E. de SIALSKY

2, RUE PIERRE LE GRAND, 2  
PARIS (VIII)

---

---

На складѣ всѣ новинки книжнаго рынка :  
УЧЕБНИКИ — КЛАССИКИ — БЕЛЛЕТРИСТИКА  
ПОЭЗИЯ - ДѢТСКІЯ КНИГИ - НОТЫ - КАЛЕНДАРИ

.....

ОТПРАВКА КНИГЪ  
ВЪ ПРОВИНЦІЮ  
И ЗАГРАНИЦУ

.....

Генеральное представительство на  
Францію слѣдующихъ издательствъ:

«ГРАДЪ-КИТЕЖЪ»

«МЪДНЫЙ ВСАДНИКЪ»

«ДЪТІНЕЦЪ»

«СИБИРСКОЕ ИЗДАТЕЛЬСТВО»

«В. СІЯЛЬСКІЙ и А. КРЕЙШМАНЪ»

и

ОТДѢЛЬНЫХЪ АВТОРОВЪ

GEORGE HENRI  
BIBLIOTECA M<sup>re</sup> F. de Saksy  
2, rue Pincois le Grand, 2  
PARIS (VI<sup>e</sup>)